



ЮРИЙ КЛАРОВ
СТАНЦИЯ
НАЗНАЧЕНИЯ —
ХАРЬКОВ

ЦЕНТРОПОЛИГРАФ



Классическая библиотека
приключений и научной фантастики

Юрий Кларов

Станция назначения – Харьков

«Центрполиграф»

1982

УДК 821.161.1
ББК 84(2Рос-Рус)6-4

Кларов Ю. М.

Станция назначения – Харьков / Ю. М. Кларов —
«Центрполиграф», 1982 — (Классическая библиотека
приключений и научной фантастики)

ISBN 978-5-9524-5298-5

Второй роман дилогии об ограблении Патриаршей ризницы. Действие происходит в 1918 году. При расследовании ограбления Патриаршей ризницы Московского Кремля выясняется, что там хранились ценности, принадлежавшие монархической организации «Алмазный фонд». Сотрудникам Московской уголовно-разыскной милиции предстоит найти как сами ценности, так и их владельцев.

УДК 821.161.1
ББК 84(2Рос-Рус)6-4

ISBN 978-5-9524-5298-5

© Кларов Ю. М., 1982
© Центрполиграф, 1982

Содержание

Пролог	5
Глава 1	7
Глава 2	20
Конец ознакомительного фрагмента.	42

Юрий Кларов

Станция назначения – Харьков

Пролог

*В президиум Московского Совета рабочих, крестьянских и солдатских депутатов
Строго конфиденциально*

На ваш запрос от 27 ноября 1918 года о монархической организации «Алмазный фонд» и ценностях; коими она располагала, сообщая:

Сведения о существовании вышеупомянутой организации были нами получены и переданы в ВЧК в ходе дознания, учиненного по факту известного хищения национальных сокровищ России из Патриаршей ризницы в Московском Кремле.

Непосредственно руководивший розыском заместитель председателя Московского совета народной милиции тов. Косачевский (в настоящее время находится на подпольной работе на Украине) установил, что во время ограбления в Патриаршей ризнице наряду с церковными находились и иные, неизвестные ценности, не внесенные ювелиром Патриаршей ризницы гражданином Кербелем в опись похищенного. Так, в частности, там хранились так называемый «Батурицкий Грааль» – вырезанная из цельного перуанского изумруда чаша весом 182 карата, которая некогда принадлежала сподвижнику Петра Первого князю Меншикову; шедевр русского ювелирного искусства «Два трона»; известная ювелирам жемчужина «Пилигрима», фамильная драгоценность рода Юсуповых; изготовленный в ювелирной мастерской Мелентьева в Риге «Золотой Марк» и другие вещи, украденные преступниками вместе с церковным имуществом.

Как выяснилось, эти ценности были привезены в Москву из Петрограда бывшим заместителем начальника Царскосельского гарнизона полковником Василием Мессмером. По объяснению Мессмера, эти вещи отдал ему на хранение его друзья.

Однако проведенные тов. Косачевским оперативные действия и опрос причастных к делу лиц показали, что в действительности вышеуказанные ценности принадлежат не частным лицам, а петроградской монархической организации, именующей себя «Алмазным фондом».

В дальнейшем об этой организации группе тов. Косачевского удалось добыть дополнительные данные. Из оных следовало, что «Алмазный фонд», созданный в 1917 году, вскоре после высылки царской семьи в Тобольск, представлял собой некое подобие кредитного банка, призванного финансировать освобождение царской семьи и формирование монархических офицерских отрядов на юге России. Казначеем совета «Алмазного фонда» являлся полковник Василий Мессмер (застрелился в марте сего года на квартире отца).

Как явствует из прилагаемой справки, «Алмазный фонд» в силу различных объективных и субъективных причин не сыграл какой-либо существенной роли в борьбе против советской власти. После Октябрьской революции значительная часть его членов эмигрировала за границу. Совету «Фонда» не удалось установить постоянных и устойчивых связей с монархически настроенным офицерством, а крупные денежные суммы, переданные Борису Соловьеву для организации побега из Тобольска царской семьи, были последним присвоены.

Между тем имущество «Алмазного фонда», состоявшее из ювелирных изделий, пожертвованных его членами, к концу семнадцатого года оценивалось в 20–25 миллионов золотых рублей. Опасаясь обысков, казначей «Фонда» Василий Мессмер вначале хранил все эти ценности в Валаамском Преображенском монастыре, где находился его брат Олег Мессмер (в ию-

честве – Афанасий). А затем все ценности были им перевезены в Москву и с разрешения московского митрополита помещены в Патриаршую ризницу.

Церковное имущество, похищенное из Патриаршей ризницы братьями Прилетаевыми, было обнаружено и изъято группой Косачевского частично в Саратове у скупщика краденого Савелия Бровина (он же Савелий Чуркин), а частично в Москве, в особняке Лобановой-Ростовской, где в марте сего года размещался анархистский отряд «Смерть мировому капиталу!». Однако, за исключением кольца «Двенадцать месяцев», ничего из ценностей «Алмазного фонда» найти не удалось.

Арестованный по делу Патриаршей ризницы помощник коменданта Дома анархии Д. Риту с (расстрелян по постановлению МЧК за убийство, грабежи и прочие преступления в апреле сего года) утверждал, что как ценности Патриаршей ризницы, так и ценности «Алмазного фонда» после ликвидации Прилетаева на даче в Краснове были им самолично доставлены в особняк Лобановой-Ростовской и вручены под расписку командиру отряда «Смерть мировому капиталу!» анархисту-коммунисту Галицкому.

После апрельской операции ВЧК по разоружению анархистов в Москве Галицкий был арестован и доставлен в уголовно-разыскную милицию. На очной ставке с Ритусом он подтвердил показания последнего, но заявил, что один из чемоданов, привезенных помощником коменданта Дома анархии, он передал на хранение своей сожительнице Эгерт.

Проверить объяснения Галицкого не представилось возможным, ибо гражданки Эгерт по указанному им адресу не оказалось. Опрошенные тов. Косачевским соседи Эгерт показали, что она в конце марта выехала из Москвы в неизвестном направлении. При обыске на квартире Эгерт ничего из ценностей «Алмазного фонда» обнаружено не было.

В связи с указанными обстоятельствами и учитывая бесперспективность дальнейших поисков ценностей «Алмазного фонда», которые Эгерт, видимо, вывезла из Москвы, розыскное дело было прекращено производством 5 сентября 1918 года. Постановление о прекращении утверждено начальником административного отдела Московского Совдепа тов. Рычаловым 5 октября сего года.

Копии документов из вышеименованного розыскного дела и копию описи драгоценностей «Алмазного фонда» прилагаю.

Приложение на 72 листах.

Начальник уголовно-разыскного подотдела административного отдела

Московского Совдепа Н. Давыдов

Москва, 9/XII – 18 г.

Глава 1

«Лучезарная Екатерина»

1

В Москву я вернулся весной двадцатого. Поезд тащился из Киева более трех суток и прибыл на Брянский вокзал утром.

Старик паровоз долго и мучительно откашливался, а затем, отхаркнув густые клубы пара и скрипнув своими ревматическими суставами, затих, прижавшись к заплыванной щербатой платформе.

Утро было серым и мутным. Сквозь давно не мытые стекла вагона чернильными пятнами на промокашке расплывались лица выстроившихся вдоль перрона бойцов заградотряда. Они отбирали у мешочников привезенные из благодатных южных краев пшеницу, картошку, яйца. Заградотряды были символом военного коммунизма и продразверстки: «Спекуляцию – к стенке!»

Пассажиры стремительно ринулись к выходу из вагона. Наиболее предприимчивые выскакивали из окон на противоположную сторону, где стоял изукрашенный плакатами агитпоезд. Шмякались на рельсы мешки с хлебом, всполошенно кудахтали обезумевшие от ужаса куры. Вереща и повизгивая, мчался под колесами агитпоезда поросенок. Перрон огласился бабьими воплями, пронзительными свистками и забористым матом. Но заградотрядников было мало, и большей части приезжих удалось прорваться на привокзальную площадь, где их уже поджидали москвичи. В переулках, дворах, подворотнях продовольствие обменивалось на одежду, обувь и мануфактуру.

Столица республики встречала сырым, дующим с реки ветром, промозглым холодом и тяжелым, застоявшимся запахом нежилого, давно покинутого хозяевами дома.

За Москвой-рекой выглянуло и тут же исчезло бледное, изъеденное золотухой солнце. Оно ничем не напоминало сдобное солнце Украины, толстые щеки которого лоснились от сочных галушек, скворчащего на сковородках сала и пышного, как довоенные перины, пшеничного хлеба.

Стены вокзала и прилегающих к площади домов были оклеены ободранными на курево декретами и постановлениями. На фонарном столбе возле трамвайной остановки белел свеженаклеенный листок с изображением Врангеля: «Вам мой фамилий всем известный: их бин фон Врангель, герр барон. Я самый лучший, самый шестный есть кандидат на царский трон».

Длинноносый Врангель сильно смахивал на хорошо знакомого мне содержателя шашлычной на Арбате. Но у того физиономия была более жизнерадостной. Барон же явно от чего-то страдал – то ли от малокровия, то ли от запоров...

Я решил не дожидаться трамвая, а взять извозчика, благо извозчицья биржа располагалась рядом с трамвайной остановкой.

– Сколько до Варварки возьмешь?

Пожилой извозчик оценивающе посмотрел на меня:

– Чем платить будешь? Ежели бумажками, не сойдемся. Нам, гражданин хороший, дензнаки ни к чему. Нам бы что по части пропитания.

Когда я достал из вещевого мешка небольшой шматок сала, он взвесил его на ладони, понюхал, поскреб ногтем:

– Лежалое небось? Да уж ладно. Где наше не пропадало! – Он тщательно завернул сало в платок. – В лучшем виде доставлю, с ветерком!

Насчет ветерка было сказано так, по привычке. И сам извозчик, и его мосластая кобыленка уже давно успели забыть про быструю езду. Лошадь шла валким шагом в меру подвыпившего мастерового, старательно обходя раскинувшиеся вдоль дороги грязевые озера. Изредка она переходила на унылую тряскую рысь. Но это была лишь дань радужным воспоминаниям о дореволюционной жизни, когда московских лошадей кормили не сухой соломой, а сеном и овсом. И каким овсом! Да, жили лошади при покойном государе императоре, царствие ему небесное!

Извозчик разделял стихийный монархизм своей отощавшей кобылы. Когда лошадь привычно замедлила шаг возле здания на углу Плющихи, где некогда размещался излюбленный лихачами трактир «Отрада», а теперь какое-то учреждение, он обернулся ко мне и неопределенно сказал:

– Скотина бессловесная, а понимает... Плохо живем, хуже некуда!

Москва изменилась. И все перемены так или иначе были связаны со словом «исчезать». Исчезли ярко выкрашенные заборы и палисадники, которыми зимой растапливали буржуйки. Исчезли спиленные и превращенные в дрова деревья многочисленных скверов, бульваров и садов. Исчезли висевшие некогда чуть ли не на каждом доме кумачовые флаги.

Заколоченные крест-накрест досками витрины магазинов, дома с облупившейся штукатуркой, унылые очереди у хлебных лавок...

О былом лишь напоминали зеленеющий свежeweымытой листвой Пречистенский бульвар да бывшее Александровское юнкерское училище на Знаменке. Основательно пострадавшее в семнадцатом во время штурма красногвардейских отрядов, оно теперь казалось только что отстроенным – сверкающие стекла окон, девственная чистота стен. Над крышей здания развевался красный флаг, а на булыжной мостовой у фасада вытянулась длинная вереница мощных «паккардов», кургузых «ройсов» и вертких «нэпиров».

В училище теперь размещались Реввоенсовет и Главный штаб Красной армии.

Лошаденка покосилась на автомобили и прибавила шагу. То ли ее взбодрил запах керосина – бензин, точно так же, как и овес, исчез в восемнадцатом, – то ли она почуяла долгожданный конец пути, но по Знаменке и Кремлевской набережной мы промчались с обещанным мне ветерком.

А вот и Варварка.

– Какой дом-то? Этот, что ли? – спросил извозчик и, остановившись у глубокой, ведущей во двор кирпичной арки, вяло и безнадежно сказал: – На чаек бы...

С щедростью загулявшего сибирского купца, стремящегося поскорей освободить карманы от избытка золота, я сунул ему триста целковых. Но он лишь презрительно хмыкнул. А по влажным укоризненным глазам лошаденки я понял, что она вновь вспомнила об овсе и покойном государе императоре. Увы, теперь на эти деньги нельзя было выпить ни водки, ни чая, разве что приобрести на Сухаревке коробок спичек или несколько фунтов все той же соломы.

Я достал из мешка два соленых огурца, и лицо извозчика расплылось в улыбке.

– Премного благодарен, – сказал он.

На расположенном в глубине тесного двора двухэтажном особнячке не было никакой вывески. Тем не менее в годы Гражданской войны дорогу сюда хорошо знали сотни людей. Отсюда они направлялись в распоряжение местных подпольных центров на оккупированную немцами Украину, в Поволжье, Крым, Сибирь. Здесь снабжали деньгами, документами, адресами явок и конспиративных квартир. Разрабатывали системы связи и обучали технике конспирации.

Возле особняка охраны не было. Но когда я вошел в подъезд, стоявший за дверью красноармеец придирчиво проверил мои документы.

– Вы к кому, товарищ?

– К Липовецкому.

– Имя?

– Мое?

– Товарища Липовецкого.

– Зигмунд.

– Отчество?

– Брониславович.

– Правильно, – удивился красноармеец, который, кажется, подозревал во мне агента Антанты.

– А кого вы здесь еще знаете?

Я почувствовал, что мое терпение кончается, но все-таки назвал две-три фамилии.

С видимой неохотой он отдал мне документы.

– Надеюсь, все?

– Можете пройти. Второй этаж, комната пятнадцать.

Я поднялся по лестнице и оказался в небольшом зале, посередине которого стоял нелепый кожаный диван, приспособленный для чего угодно, но только не для человеческих ягодиц. Тем не менее два года назад именно на нем я долго беседовал с неким длинноволосым человеком в кургузом пиджаке с протертыми локтями и в мальчишечьих башмаках, которого привела ко мне Роза Штерн.

«Длинноволосый мальчуган», как его тут же окрестил Зигмунд, рвался на Украину, где хотел подготовить покушение на гетмана Скоропадского. Я никогда не был поклонником террора, но считал, что если одним гетманом станет меньше, то ни Россия, ни Украина от этого не пострадают. Расходы же были невелики. По раскладкам моего собеседника, гетмановская голова должна была обойтись партийной кассе сравнительно дешево, не дороже нескольких мешков пшеницы на Сухаревке.

Внешность анархистского боевика и его манера держаться симпатий не вызывали. Он походил на невоспитанного подростка, которого слишком мало секли в детстве и тем самым безвозвратно упустили золотое время. Самоуверенный и честолюбивый, он говорил чересчур громко странным металлическим голосом, излишне часто употребляя местоимение «я».

Однако рекомендация Штерн кое-что да значила. Роза плохо разбиралась в людях, но смыслила в боевиках. И я склонялся к тому, чтобы пойти ему навстречу. Но Зигмунд начисто отверг мое предложение, и «мальчугану» лишь выдали скромную сумму для возвращения на его родную Екатеринославщину.

В дальнейшем я не раз вспоминал о посетителе в кургузом пиджачке, который собирался во славу анархии превратить с помощью адской машины высокородного гетмана в куски кровоточащего мяса, и о нашей беседе на этом продавленном диване. Как-никак, а «длинноволосого мальчугана» звали Нестором. Фамилия же его была Махно...

Любопытно, что о своем неудачном визите на Варварку не забыл и сам батька.

Когда в конце девятнадцатого года махновская «Революционная повстанческая армия Украины», разросшаяся за счет мелких партизанских отрядов до восьмидесяти тысяч, прорвала деникинский фронт и заняла Бердянск, Никополь и Екатеринослав, я был направлен ЦК КП(б)У в ставку строптивного батьки с весьма деликатным поручением – выяснить его ближайшие планы.

После одной из встреч батька вызвал своего казначея и приказал выдать мне под расписку пятьсот рублей керенками, ту сумму, которую мы ему ассигновали в июне 1918-го... «За Нестором Ивановичем никогда не пропадет, – сказал он своим металлическим голосом и обнажил в улыбке крупные желтые зубы. – Как там диван, обновили?»

Диван не обновили. Кожа пришла в полную ветхость. Из дыр торчали ржавые пружины. Если Махно рассчитывал на то, что диван займет почетное место в музее анархии, он ошибался. Скорей всего, диван скоро окажется на свалке. И не исторической – обычной.

Миновав диван, я свернул по коридору налево и распахнул хорошо знакомую мне дверь.

Зигмунд, бородатый и низкорослый, как обычно, сидел за своим просторным столом в глубине комнаты и что-то быстро писал, нервно ерзая локтем по раскиданным на столе бумагам. На скрип двери он поднял голову, уставился на меня близорукими глазами и недовольно буркнул:

– У нас принято стучаться, товарищ!

– Постараюсь учесть.

– Вот-вот, постарайтесь, – сказал он и осекся, поспешно схватив со стола пенсне, нацепил его на переносицу.

– Косачевский?!

Встреча приобретала несколько театральный характер.

– Живой?!

– Живой, – как можно убедительней подтвердил я, опасаясь взрыва эмоций: Зигмунд не был чужд сентиментальности.

Мои опасения подтвердились. Колобком выкатившись из-за стола, Зигмунд подскочил ко мне и вцепился обеими руками в отвороты шинели. Мы поцеловались.

– И впрямь живой, – удивленно сказал он, отстраняясь и заглядывая снизу вверх в мое лицо. – Никак не думал, что еще раз тебя увижу.

– Почему?

– Да тут у меня один сукин сын был... Рассказывал, как тебя расстреляли...

«Сукин сын» было единственным сильным выражением, которое Зигмунд взял себе на вооружение из богатейшего арсенала русских ругательств. И тут, на мой взгляд, сказывалось некоторое пренебрежение к многовековой истории Руси, где этот арсенал трудолюбиво и любовно пополнялся еще со времен татаро-монгольского ига.

– Так что же тебе рассказал этот «сукин сын»?

По старой тюремной привычке Зигмунд ходил по комнате, заложив руки за спину, а я, удобно расположившись в кресле, слушал рассказ о последних часах своей жизни.

Моим убийцей, как выяснилось, был один из участников восстания в Москве левых эсеров, бывший командир отряда ВЧК Дмитрий Попов, который после разгрома восстания нашел себе прибежище у Махно. Узнав о моем приезде в Екатеринослав, Попов якобы посоветовал батьке убрать меня, или, как выражались махновцы, «украсть». Но тот заупрямился. Ему не хотелось из-за какого-то Косачевского осложнять и без того неважные отношения с большевиками, дивизии которых в хвост и в гриву гнали деникинцев. Тогда Попов решил обойтись без батьки. Когда Косачевский возвращался в Киев, в его вагон ворвалось несколько махновцев...

Расстреляли меня на каком-то полустанке, недалеко от насыпи железной дороги.

За исключением того, что перед смертью я запел «Интернационал», все выглядело довольно достоверно, тем более что на совести Попова было немало подобных дел. Но «Интернационал» – это уж слишком.

– Ты же знаешь, что у меня никогда не было ни слуха, ни голоса.

– Что? – Зигмунд остановился, недоумевающе посмотрел на меня. – Ну, знаешь... в такой ситуации иногда появляются и слух и голос. – Он снял пенсне, протер стекла. – Никак не ожидал, что увижу тебя. А ты вот... Даже пошупать можно. Чудеса!

– Еще поцелуемся? – поинтересовался я.

– Иди к чертовой матери!

«К чертовой матери»... Прогрессом не назовешь, но все-таки некоторый сдвиг.

– А ты, оказывается, время зря не терял. Еще что-нибудь освоил?

Он засмеялся:

– О тебе на прошлой неделе Ермаш справлялся. Я ему сказал, что тебя уже давно нет в живых.

Фамилия ничего мне не говорила.

– Кто такой?

– Начальник Центророзыска.

– Ермаш... – После сыпного тифа, который свалил меня в Новозыбкове, память мне порой отказывала, но фамилии я все-таки запоминал неплохо. – Где он раньше работал?

– В ВЧК. А еще раньше – где-то в Сибири или на Урале. Кажется, тоже в ЧК.

– Не помню такого.

– Откуда же он тебя знает?

– Представления не имею.

Липовецкий, отличавшийся дотошностью, наморщил лоб и задумался. Он не выносил, когда что-либо оставалось не выясненным до конца.

– Постой, постой, – сказал он. – Ты же когда-то работал в Совете милиции. Верно?

– Верно.

– И занимался розысками ценностей «Алмазного фонда».

– Собирался заниматься, – уточнил я.

– Ну, собирался. Вот потому-то Ермаш о тебе и спрашивал, – подвел он черту. – Цент-
ророзыск интересуется «Фондом».

– Но ведь дело прекращено в восемнадцатом.

– Значит, возобновили.

– В связи с чем?

– Вот чего не знаю, того не знаю, – безразлично сказал он.

Зигмунд, занимавшийся с небольшими перерывами подпольной работой уже добрый десяток лет, считал ее единственным стоящим делом, которым должен заниматься профессиональный революционер. Все остальное в его представлении было второстепенным, не имеющим существенного значения. И конечно же меньше всего Липовецкого могла интересовать судьба каких-то там ценностей. Центр всего и вся находился здесь, на Варварке, все остальное – обочина.

Он поинтересовался моими планами. Они были крайне неопределенны. В связи с наступлением Красной армии сеть подпольных центров на Украине и в Сибири неуклонно уменьшалась. Похоже было на то, что Гражданская война долго не продлится. Поэтому на Варварке делать мне было нечего. Рычалов предлагал работу в Московском Совдепе, но окончательного ответа я ему не дал.

– Недельку передохну, а там видно будет.

Зигмунд неодобрительно хмыкнул: неделю отдыха он считал непозволительной роскошью.

– Остановиться у тебя есть где?

– Нет, конечно. Я же перекати-поле.

– Тогда будешь жить у меня. Я здесь рядом обитаю – во 2-м Доме Советов, бывший «Метрополь».

– У тебя же жена и дочка?

Зигмунд помолчал, а затем неохотно сказал:

– Ида в Ревеле. С месяц, как туда направили. И Машка при ней. Вот так...

– Какие-нибудь известия получал?

– Получал. Недавно товарищ оттуда приезжал. Пока как будто все в порядке.

Зигмунд тщательно протирал стекла пенсне, и я понял, что на эту тему больше говорить не следует.

– Ну так как?

Никаких возражений против 2-го Дома Советов у меня не было.

2

Если Липовецкий считал, что центр земли находится в двухэтажном особняке на Варварке, то Борин был убежден в том, что весь мир всего лишь филиал сыскной полиции, а в душе каждого скрывается сыщик.

«Не следует забывать, Леонид Борисович, что человек создан по образу и подобию Божьему, – как-то в шутку сказал он, – а Всевышний – великий мастер сыска».

В высказывании Борина имелась доля истины. Видимо, действительно в душе некоторых представителей рода человеческого живет сыщик, который терпеливо дожидается своего часа.

К этим «некоторым», судя по всему, принадлежал и я. Сказанные Липовецким мимоходом слова о том, что Центроорозыск вновь заинтересовался «Фондом», не только не пролетели мимо моих ушей, но гвоздем засели в памяти.

Я мысленно перелистывал немногочисленные страницы этого дела, в котором основное место занимал допрос Галицкого.

Галицкого доставили ко мне сразу же после разоружения черной гвардии. Он был взвинчен и раздражен.

«Как вы думаете, Косачевский, – спросил меня после очной ставки с Ритусом бывший командир бывшего партизанского отряда, – чего бы мне сейчас больше всего хотелось?»

Отгадывать желания этого милого молодого человека в мои обязанности не входило. Но Галицкий на это и не рассчитывал.

«Больше всего мне бы хотелось поставить вас к стенке, – любезно объяснил он. – Ведь вы, большевики, разоружили не нас – вы разоружили революцию. – А затем мечтательно добавил: – Может быть, вы сами пустите себе пулю в лоб, Косачевский?»

Я вынужден был его разочаровать: так далеко мои симпатии к нему не заходили.

Естественно, что начавшаяся подобным образом беседа ничем путным закончиться не могла.

Разговорить его не удалось. Он неохотно и односложно отвечал на вопросы. У меня создалось впечатление, что, рассказывая об Эгерт, он чего-то недоговаривает, а говоря о ценностях «Фонда», и просто лжет.

Впрочем, на успех первого допроса я и не рассчитывал. Галицкому надо было дать возможность остыть, трезво взглянуть на происшедшие события, которые не имели никакого отношения к разоружению революции. Но в те суматошные дни, когда я уже приступил к работе на Варварке, я не мог уделить ему достаточно времени. Поэтому результатами нашей встречи были лишь впечатления и изъятая у Галицкого при обыске фотография Елены Эгерт, волоокой женщины с неправдоподобно красивым лицом.

Больше Галицкого никто не допрашивал. А в мае тысяча девятьсот восемнадцатого ему, по ходатайству анархиста Муратова, известного под кличкой Отец, дали возможность беспрепятственно покинуть Москву.

Где теперь этот юноша – бог весть.

Не были «разработаны» ни брат покойного Василия Мессмера, монах Валаамского монастыря Афанасий, ни любовница Галицкого очаровательная Елена Эгерт, ни ее соседи по дому.

Даже частично не проверялась версия о том, что Галицкий солгал и чемодан с ценностями отдал на хранение не Эгерт, а где-то спрятал. (Никто из соседей не видал среди вещей Эгерт желтого кожаного чемодана с металлическими бляхами.) Повисло в воздухе и предположение Борина о том, что Афанасий, поспешно покинувший в марте восемнадцатого Валаам, имел отношение к исчезновению ценностей «Фонда» и был каким-то образом связан с Эгерт. Между тем это предположение основывалось на показаниях дворника. По его словам, Эгерт

в марте дважды навещал человек средних лет в монашеской одежде. Первый раз он приходил один, а вторично с каким-то господином.

И еще одно очень любопытное обстоятельство, о котором я узнал много месяцев спустя в Брянске от сотрудника Зафронтового бюро ЦК КП(б)У Яши Черняка. Он мне рассказывал, что в мае восемнадцатого, когда в Екатеринбурге находилась привезенная из Тобольска царская семья, вокруг которой вертелись всяческие монархисты и плелись нити заговоров, Урал совет принял некоторые предупредительные меры по очистке города. Одной из них была высылка из Екатеринбурга в Алапаевск членов царской фамилии: великого князя Сергея Михайловича, бывшей сербской королевы Елены, сыновей великого князя Константина Константиновича, князя Владимира Палея и сестры царицы Елизаветы Федоровны.

Их привезли в Алапаевск и разместили в школе 20 мая. А в начале июня в городе появился некий монах, который снял квартиру рядом со школой. Звали этого монаха Афанасий, и по описаниям Черняка он очень походил на брата Василия Мессмера.

Черняк, командовавший тогда в Алапаевске интернациональным красногвардейским отрядом, которому впоследствии была поручена охрана школы (вначале члены царской фамилии находились на вольном положении), говорил мне, что Афанасий доставил ему немало хлопот. Монах несколько раз встречался с сестрой царицы и великим князем Сергеем Михайловичем, передавал им деньги, письма. Не чуждался он и благотворительности, которая носила слишком односторонний характер: монах помогал только семьям красногвардейцев, охранявших школу...

Афанасием, разумеется, заинтересовались, но арестовать его не удалось: он успел скрыться.

В ночь с 17 на 18 июля в связи с наступлением белых все члены царской фамилии были расстреляны.

А когда в город вошли белые, здесь вновь объявился вездесущий Афанасий.

Черняк, оставшийся тогда в Алапаевске для подпольной работы, рассказывал, что Афанасий организовал розыск расстрелянных. Тому, кто их найдет, было обещано пять тысяч рублей золотом. А затем он вместе с игуменом Серафимом организовал пышные похороны.

Черняк утверждал, что «благотворительность» и похороны обошлись Афанасию в пятнадцать – двадцать тысяч рублей золотом.

Откуда такие деньги у скромного монаха из Валаамского монастыря?

Семья Мессмеров богатством не отличалась. Их родовое имение в Серпуховском уезде давало более чем скромный доход. Следовательно, Афанасий тратил в Алапаевске не собственные деньги.

А чьи, не «Алмазного ли фонда»? Похоже было на то, что Борин не ошибся и Афанасий действительно навещал Эгерт. К нему, возможно, и перешли ценности, полученные ею от Галицкого.

Но если это так, кто тогда Елена Эгерт, любовница командира партизанского отряда «Смерть мировому капиталу!», и какие нити ее связывали с братом казначея «Алмазного фонда»?

Куда девалась Эгерт и где теперь обитает Афанасий?

Видимо, на все эти вопросы можно было бы найти ответы. Но, к сожалению, после того, как я ушел из Совета милиции, ценностями «Фонда» никто практически не занимался. Специальная группа, созданная для расследования ограбления Патриаршей ризницы, была расформирована, а у Московской уголовно-разыскной милиции, преобразованной к тому времени в уголовно-разыскной подотдел административного отдела Совдепа, забот и без того хватало. Достаточно сказать, что в Москве в 1918 году было зарегистрировано около четырнадцати тысяч преступлений, а вопрос о борьбе с вооруженными грабежами рассматривался под председательством Ленина на заседании Совнаркома.

Но как бы то ни было, а прекращать дело о розыске ценностей «Алмазного фонда», конечно, не следовало.

И вот теперь оно возобновлено Центророзыском.

Любопытно. Весьма любопытно.

– А чего, собственно, любопытного? – пожал плечами Рычалов, которого я навестил в день своего приезда. – Тогда нам было не до жиру, а теперь пришло время ликвидировать прежние огрехи. Все закономерно.

Детерминист по натуре, Рычалов во всем ухитрялся отыскивать закономерности. Случайности он исключал или относился к ним с настороженной подозрительностью человека, который понимает, что его хотят обмануть. В том, что слух о моей смерти не подтвердился, он тоже, кажется, усматривал закономерность. Во всяком случае, мое появление его не удивило и почти не нарушило привычный распорядок дня начальника отдела фронта Московского Совдепа. Рычалов отнюдь не собирался меня целовать – не уверен, что он когда-либо целовался даже с собственной женой. Не прервал он и беседу с командиром, который пытался получить для своей части партию керосиновых ламп.

– Заходи, Косачевский. Значит, живой? – сказал он и, подумав, добавил: – Это хорошо, что живой.

Я не мог не согласиться с ним.

– Садись. Через пять минут мы кончим.

Действительно, ровно через пять минут он проводил посетителя до дверей кабинета. Затем подошел ко мне и с таким видом, будто мы расстались только вчера, спросил:

– Как в Киеве идет сбор сапог для армии?

Второй вопрос касался нательного белья, а третий – портянок. Затем он посмотрел на часы – мое появление распорядком дня не предусматривалось – и предложил работу в отделе фронта.

Работа была не по мне.

– Очень важный участок, – сказал Рычалов, который любую работу рассматривал только с этой точки зрения.

– Липовецкий мне говорил, что Центророзыск занялся «Фондом»?

– Да, – подтвердил он, – постановление о прекращении дела отменено.

Рычалов уделил мне полчаса. И это убедительней любых слов свидетельствовало о том, как он меня любит, ценит и счастлив видеть живым и невредимым. Таким отношением к себе начальника отдела фронта мог похвастаться не каждый.

– Кстати, Ермаш тоже живет во 2-м Доме Советов, – сказал на прощание Рычалов. – Заглянешь к нему?

– Через недельку.

Но встретились мы значительно раньше. Во время обеда в громадной столовой 2-го Дома Советов, где из изящных серебряных мисок разливали в не менее изящные фарфоровые тарелки жидкий чечевичный суп, к нашему столу подошел бритоголовый плотный человек, одетый в кожаную куртку «Правь, Британия!», или, как ее еще именовали в Москве, «Подарочек английского короля» – иронический намек на поспешную эвакуацию английских войск из Мурманска, где на вещевых складах интервентов осталось много обмундирования, в том числе и кожаные куртки.

Это и был начальник Центророзыска республики Фома Васильевич Ермаш.

Архимандриту Димитрию Ермаш бы не понравился. От всего облика этого человека – от его походки, жестов, манеры говорить, слушать – исходила уверенность. А Александр Викентьевич не любил людей, которые слишком уверенно шагают по жизни. В этом, как, впрочем, и во многом другом, мы с ним расходились.

– Косачевский? – спросил Ермаш у Липовецкого и кивнул в мою сторону.

– Косачевский, – буркнул Зигмунд, не отрывая глаз от тарелки. Он терпеть не мог во время еды никаких разговоров. – Ты же небось уже все знаешь.

– Знаю, – подтвердил Ермаш, – мне Рычалов говорил. Ну, будем знакомы.

Он протянул мне руку.

– А ты вовремя воскрес из мертвых. Хочу с тобой поговорить об «Алмазном фонде». Не возражаете, если переберусь к вам?

Не дожидаясь ответа – кажется, Ермаш исходил из того, что его присутствию всегда и все должны быть рады, – он перенес свою тарелку с супом на наш столик.

Во время еды я несколько раз ловил на себе его изучающий взгляд.

После обеда он пригласил меня к себе.

– Если не возражаешь, давай потолкуем. – И точно так же, не дожидаясь ответа, поднялся из-за стола.

Мы отдали свои пустые тарелки судомойке, которая тут же опустила их в серебряную лохань с горячей водой, и поднялись к Ермашу.

Он жил двумя этажами выше. Через всю его комнату была протянута веревка. На ней сушилось выстиранное белье.

– Холостой?

– Как видишь. Только верней будет сказать – вдовец. С восемнадцатого вдовствую. Когда Пермь сдавали, жена брюхатой была... Ну и осталась по недомыслию бабьему... Вот так.

Как я имел возможность убедиться, Ермаш досконально изучил все материалы дознания не только по «Алмазному фонду», но и по Патриаршей ризнице. Он хорошо ориентировался во всех эпизодах дела, помнил фамилии свидетелей, названия драгоценностей и даже даты.

Он рассчитывал получить от меня сведения, которые по каким-либо причинам не были зафиксированы в документах. Но тут его ждало разочарование. Ничего, кроме алапаевской истории, я ему рассказать не мог. А деятельности брата Василия Мессмера в Алапаевске Ермаш особого значения не придал.

– С Афанасием, понятно, попытаемся раскрутить. Но я не очень-то верю, что через него мы на что-нибудь выйдем.

– Недаром же тебя Фомой окрестили, – пошутил я.

Ермаш лениво улыбнулся:

– Фома неверующий? Это ты в точку... А с чего его так прозвали? Когда-то в церковно-приходском учил, да запоматывал.

– Никак не хотел поверить в воскресение Христа, покуда своими собственными руками его раны не ощупал.

– Вот-вот, – кивнул Ермаш. – Так нам и толковали. А ведь правильный был апостол. Ежели все своими руками пощупаешь, не ошибешься.

Я спросил, что послужило поводом к возобновлению дела.

– Про Кустаря небось слышал? Вот от него все и пошло.

Кустарь была кличка Федора Перхотина, происходившего из крестьян Жиздринского уезда Калужской губернии.

До семнадцатого года Перхотин занимался ложкарным промыслом, то есть делал и продавал в Москве деревянные ложки. А после Февральской революции освоил более рискованную, но зато и более выгодную профессию налетчика.

Среди московских бандитов того времени Кустарь занимал довольно скромное положение. Куда ему было до таких прославленных знаменитостей, как Сашка Семинарист, Яков Кошельков, Сабан или Мишка Чума!

Он не участвовал в нападении на машину Ленина, в нашумевшем на всю Россию ограблении Сената, в налете на Народный комиссариат по военным делам. Кустарь предпочитал

грабить квартиры и магазины, преимущественно ювелирные. К чужой жизни относился уважительно: на его совести было «всего» пять или шесть убийств.

И все же с этим налетчиком бандотдел МЧК и Московский уголовный розыск намучились больше, чем с Мишкой Чумой, Сашкой Семинаристом и Яковом Кошельковым. Секрет тут заключался не в удачливости, не в особом уме или хитрости ложкаря, а в его основательности.

С той же тщательностью, с какой он некогда вырезал ложки, Кустарь совершал и свои налеты. Иной на удачу понадеется, на русское авось. Другой поленится или лихость захочет показать. А Кустарь все делал на совесть, честно, добросовестно – не придерешься.

И еще. Став налетчиком, Кустарь по своей натуре остался мужиком. Уголовный мир с его обычаями и традициями был ему чужд. Он не посещал притонов Хитровки, не нюхал кокаина, не пользовался услугами профессиональных скупщиков краденого. И за месяц до моего возвращения в Москву Ермаш решил поручить розыск Кустаря своей бригаде «Мобиль», которая занималась особо важными делами.

Так бывший ложкарь удостоился чести оказаться под опекой одного из опытнейших работников сыска, Петра Петровича Борина.

Подход Борина к поставленной перед ним задаче был одновременно и прост, и психологически точен. Он исходил из того, что ни один бандит не может действовать без сообщников. Ему всегда потребуются наводчики и те, что смогут реализовать награбленное. Если Кустарь не имеет никаких дел с профессиональными уголовниками, значит, он пользуется услугами других людей, которым полностью доверяет. Скорей всего, это его земляки. На родине налетчика Борин собрал сведения об односельчанах и родственниках Перхотина.

Список жиздринцев, осевших в разное время в Москве, оказался обширным. Но после отсева в нем осталось несколько фамилий, в том числе фамилия Марии Степановны Улимановой, двоюродной тетки Перхотина, которая некогда занималась сбытом деревянных ложек оптовикам.

Борин установил за домом Улимановой наружное наблюдение. Оно ничего не дало. Тогда он пошел на определенный риск и произвел неожиданный обыск. Его результаты превзошли все ожидания. В обширном темном чулане обнаружили под тряпьем пачки денег, золотые и серебряные вещи. В том, что это добыча Кустаря, не было никаких сомнений. Тогда же в руки Борина попало и письмо, которое послужило поводом к возобновлению дела о розыске ценностей «Алмазного фонда». Это письмо было использовано как оберточная бумага. Аккуратный и педантичный Кустарь завернул в него золотые кольца...

– В том письме «Лучезарная Екатерина» поминается, – объяснил Ермаш. – Вот мы и ухватились.

«Лучезарная Екатерина» среди драгоценностей «Алмазного фонда» занимала такое же почетное место, как «Батурицкий Грааль», «Два трона» и «Золотой Марк». Когда я в свое время поинтересовался у профессора Карташова ее стоимостью, он только усмехнулся: «Из тех вещей, что не покупаются и не продаются, Леонид Борисович. Уникум».

– А чье письмо? Кто писал?

– Покуда не установлено.

– Но адресат известен?

– Нет. Копать нужно, Косачевский. Глубоко копать.

– Кто же у тебя занимается... земляными работами?

– Борин и занимается. Кому ж еще?

Ермаш улыбнулся той простодушной улыбкой, которая меньше всего свидетельствует о простодушии.

– А хочешь, чтобы занялся я?

Такого лобового вопроса он не ожидал и несколько опешил.

- А ты не лыком шит, Косачевский.
- Это точно. Не лыком – дратвой.
- Я тут о тебе с Рычаловым беседовал...
- Ну и как?
- Что – как?
- Подхожу тебе?
- Ермаш засмеялся:
- Иначе бы с тобой разговора не затевал.
- Ну, разговор-то, положим, затеял я. Ты все возле да около ходил.
- Пойдешь к нам начальником бригады «Мобиль»? – Надо подумать.
- А чего думать? Ты всю эту кашу с «Фондом» заварил, тебе ее и расхлебывать.
- Сними с веревки белье. Высохло.
- А ведь верно, – сказал он, – и впрямь просушилось. Выходит, не зря с тобой толковали: один добрый совет я от тебя уже получил. Ну так как? Договорились? Я поднялся:
- Отложим до завтра.
- Думать будешь?
- Ничего не поделаешь, – извинился я, – привычка.

Из описания драгоценностей «Алмазного фонда», выполненного по указанию заместителя председателя Московского совета народной милиции тов. Косачевского профессором истории изящных искусств Карташовым, приват-доцентом Московского университета Шперком, ювелирами Гейштором, Оглоблинским и Кербелем в апреле 1918 г.

«Лучезарная Екатерина» – первый экземпляр дамского ордена, учрежденного Петром Первым в ознаменование заслуг императрицы Екатерины в Прутском походе.

«Лучезарная Екатерина» сделана по эскизу императора придворным ювелиром Францем Мерлингом.

История ордена святой великомученицы Екатерины, или ордена Освобождения, такова.

Прутский поход сложился для Петра крайне неблагоприятно. Окруженному и прижатому к реке русскому войску грозила гибель. «Извещаю вам... – писал император Сенату 10 июля 1711 года, – что я, без особливья Божия помощи, ничего иного предвидеть не могу, кроме совершенного поражения, или что я впаду в турецкий плен».

А через три дня после этого письма турки сняли свои заслоны и беспрепятственно выпустили из прутского лагеря русские войска. Какую именно роль сыграла в происшедшем Екатерина, неизвестно. Но в манифесте о ее коронации Петр указывал: «Наша любезнейшая супруга, государыня императрица Екатерина великою помощницею была... а наипаче в Прутской кампании с турки... о том ведомо всей нашей армии...»

По уставу ордена святой великомученицы Екатерины (Освобождения), разработанному самим императором, «кавалерственные дамы» обязывались «освободить одного христианина из порабощения варварского, выкупая за собственные деньги», что являлось, видимо, своеобразным намеком на участие самой Екатерины в освобождении окруженной русской армии во время Прутской кампании (по некоторым свидетельствам, Екатерина тогда отдала туркам все свои драгоценности).

Знаками ордена Петр установил крест с изображением святой великомученицы Екатерины и золотую восьмиконечную звезду. Надпись на красной с серебряной каймой ленте гласила: «За любовь и отечество».

По статуту орден не полагалось украшать драгоценными камнями. Однако для императрицы было сделано исключение. Овал в центре креста, который в дальнейшем покрывался обычной эмалью, был заполнен крупным рубином с резным изображением святой Екатерины,

держащей в руках крест, а лучи восьмиконечной звезды окантовали бриллиантами весом от одного до двух каратов.

Вышеуказанный рубин, который обычно именуют «Гагаринским», принадлежал губернатору Сибири князю М.П. Гагарину. Губернатор подарил его Менишникову, а последний – Екатерине. «Гагаринский рубин», вес которого определялся в 32 карата, густого темного цвета, относится к числу рубинов, добываемых в Индии в Ратнапуре («Город рубинов»). По своим качествам может соперничать с лучшими рубинами в мире.

После смерти императрицы «Лучезарная Екатерина» (имеется в виду крест с «Гагаринским рубином», звезда была утеряна) перешла к ее брату, бывшему ямищику, получившему в год смерти Екатерины графский титул, Федору Самойловичу Скавронскому, а от него – к двоюродному брату императрицы Елизаветы, графу Мартыну Карловичу Скавронскому.

По слухам, перед революцией «Лучезарная Екатерина» принадлежала князю Юсупову.

Письмо неизвестного, обнаруженное инспектором бригады «Мобиль» то в. Бориным при обыске на квартире гр. Улимановой, имеющей жительство в бывшем доходном доме Оловяшниковых по Свиньинскому переулку

Здравствуй, Алексей!

Пересылаю тебе по прежним каналам через Заику уже третье письмо, но от вас, кроме той записки, которая вселила в меня столько надежд, ничего не получил. Впечатление, что цепочка связи где-то порвалась. Надеюсь, произошло это без участия Красавца. Избави бог, чтобы наша почта оказалась у него в руках.

Похоже, он водит вас за нос. Не исключаю и ловушку. Когда снова будете выходить на связь с ним, примите меры предосторожности.

Мое положение улучшилось. Пока это единственный реальный результат. Сижусь в одиночке. В нарушение тюремной инструкции мне разрешено днем спать, а также пользоваться чернилами и бумагой. Избиения прекратились. Короче говоря, ко мне относятся, как к курице, которая несет золотые яйца. Покуда она их несет, разумеется...

Допрашивает он меня по-прежнему ежедневно, преимущественно по ночам, но уже без кровопусканий, деликатно. Дает понять, что все это пустая формальность. Пожалуй, так оно и есть.

Допросы начинаются традиционно: кто продавал нам оружие, как я его транспортировал, где находится перевалочная база и так далее. Затем он записывает мои столь же традиционные ответы человека, по ошибке оказавшегося за решеткой.

Закончив официальную часть, Красавец неизменно переходит к разговору «по душам». Темы самые разнообразные, но без «Лучезарной Екатерины», разумеется, не обходится. За время Гражданской войны он поднаторел не только в пытках, но и в ювелирном деле – формы огранки драгоценных камней, скань, финифть...

Несколько раз Красавец исподволь пытался узнать что-нибудь о тебе. Особенно его интересует, находишься ли ты постоянно в городе или бываешь здесь наездами. Это не может не настораживать. Подлец что-то замышляет.

Вчера напомнил ему об его обещании. Он стал сетовать на различные причины, которые связывают ему сейчас руки, а закончил милой шуткой: во сколько я оцениваю свою голову?

Я ответил, что недорого.

«Скромничаєте, дорогой, скромничаєте!» – И стал перечислять тех, с кем ему нужно будет поделиться.

Список получился длинный...

Боюсь, Алексей, что моя голова окажется тебе не по карману.

Аристократа видел всего лишь раз – на допросе. Они на «ты». Но, кажется, Красавец ему не очень-то доверяет. Признаюсь, что Аристократ мне особого доверия тоже не внушает. Такое впечатление, что он успел начисто забыть, для чего его сюда направили. Впрочем, может быть, я к нему несправедлив. Тюрьма обостряет подозрительность.

Но пора кончать. В коридоре шум – похоже, повели на убой очередную партию.

Привет товарищам.

P.S. Если со мной что произойдет, переправь мое письмо матери. Оно у Заики. Выругай меня еще раз за сентиментальность – и переправь.

Глава 2

Первые шаги и первые сюрпризы

1

На следующее утро Ермаш постучал в дверь нашего номера. Он был чисто выбрит и щеголеват. Английская кожаная куртка сидела на нем как влитая.

– Подумал?

– Подумал.

Мое решение он воспринял как нечто само собой разумеющееся: Ермаш относился к числу тех, которым все удается.

– Значит так, – сказал он, – сейчас я еду на совещание, в Совдеп. Пробуду там час, от силы – полтора. А оттуда – к себе. Буду тебя ждать.

Хватка у Ермаша была железная. Кажется, Центророзыску повезло с начальником.

– Окрутил, выходит? – спросил Зигмунд, когда дверь за Ермашом закрылась, и меланхолично заметил: – Единственно, что люди охотно делают, – это глупости.

На Липовецкого теория Борина не распространялась. К своей душе он сыщика и близко не подпускал. Как и некоторые другие бывшие политкаторжане, Зигмунд относился к людям этой профессии с предубеждением человека, которого всю жизнь выслеживали, ловили, допрашивали и обыскивали.

Я его мог, конечно, понять. Нечто похожее испытывал и я в семнадцатом, когда меня вопреки моему желанию назначили заместителем председателя Совета милиции.

Но это было в семнадцатом, два с половиной года назад. Много с того времени и воды утекло, и крови, и слюнявых иллюзий.

Ермаша с Рычаловым роднило одно – точность. Когда я приехал в Центророзыск, он уже был на месте. Быстро ввел меня в курс дел, которыми занималась бригада, представил сотрудников. И меньше чем через час я уже получил возможность уединиться с Бориным.

На письмо, о котором мне говорил Ермаш, я особых надежд не возлагал. И все же оно меня разочаровало.

Где все происходило – в Перми, Киеве, Екатеринбурге, Ростове, Омске?

В каком году?

Кто такие Алексей и сам автор письма – большевики, правые эсеры, анархисты, боротьбисты или максималисты?

У кого находилась тогда «Лучезарная Екатерина» – у друзей автора письма или у Красавца, офицера контрразведки?

Как письмо попало в Москву? Кто и с какой целью привез его сюда?

Было, конечно, соблазнительно перебросить мостик от письма неизвестного к тем событиям в Екатеринбурге и Алапаевске, о которых мне рассказывал Черняк. Тогда можно было бы хоть за что-то ухватиться. Но я знал: предположение, основанное на предположении, плохая подпорка в розыскной работе. Мостик должен опираться на нечто реальное, вещественное. А этого реального у нас не было. По сути, ничего не было, кроме предположений, нагромождающихся на те же предположения.

– Само по себе письмо нам покуда ничего не дает. Одна игра воображения, Леонид Борисович! – сказал Борин, безошибочно читая мои мысли. – Плясать надо не от него, а от Кустаря и Улимановой.

– Рассчитываете, что допляшетесь до чего-нибудь путного?

Борин огладил вконец поседевшую бородку:

– Смею надеяться, Леонид Борисович. – Он достал из серебряного портсигара с монограммой папироску, покрутил ее в пальцах и вновь положил в портсигар: с куревом в Москве было небогато. – Только плясать, понятно, с толком надлежит, на трезвую голову.

– Не слишком топать и поменьше руками размахивать?

– Вот, вот. Авось до чего путного, как вы изволили выразиться, и допляшемся.

– Ну что ж, для разминки можно и поплясать, – согласился я. – А пока расскажите мне об Улимановой. Ведь вы пляску без меня начали.

Оказалось, что Улиманова, некогда содержавшая небольшое белошвейное заведение на Солянке, хотя и не была профессиональной преступницей, но все-таки числилась до революции в канатчицах. Канатчиками или канатчицами в Московской сыскной полиции называли тех, кто, занимаясь временами «противозаконной» деятельностью, ухитрялся так ловко «ходить по канату», что ни разу не попадал не только в тюрьму, но и в участок. От случая к случаю в полицию поступали сведения, что Улиманова приторговывает наркотиками, а в ее квартире организован тайный игорный притон – «мельница». Но уличить эту оборотистую даму не могли, а может, и не очень стремились.

По мнению Борина, Улиманова оказывала помощь Кустарю уже не первый год. Но встречались они редко, только в случаях крайней необходимости.

Причастность Улимановой и бывшего ложкаря к событиям, описанным в письме, представлялась маловероятной. Скорей всего, письмо попало к Кустарю случайно во время очередного налета вместе с вещами, представляющими реальную ценность. Оно могло, например, находиться в портфеле, где лежали деньги. И налетчик не выбросил его лишь потому, что нашел для него практическое применение – чего зря бумаге пропадать?

Люди, у которых хранилось это письмо, могли бы поведать нам немало интересного. Но кто они и где их искать?

На эти вопросы мог ответить только сам Кустарь. А он отнюдь не торопился засвидетельствовать нам свое почтение...

Удастся ли его взять?

Обыск на квартире Улимановой мог его вспугнуть, согнать с насиженного места. В конце концов, налетчика ничто не удерживало в Москве. Но даже если он останется в городе, то шансов разыскать его тоже не так уж много.

Однако Борин не разделял моих опасений.

– Мария Степановна, понятно, встревоженна, – сказал он, – хотя обошлись мы с ней честь по чести: и выпустили, и вещички вернули, и за напрасное беспокойство извинения принесли – в дурачков, словом, сыграли. А Кустарь, осмелюсь доложить, в неведении пребывает.

– Так ли?

– Так, Леонид Борисович, – с несвойственной ему обычно уверенностью сказал Борин. – Посудите сами. Через третьих лиц связи у них нет – мы проверяли. Да и не в натуре Кустаря вмешивать в свои родственные дела посторонних. Ни к чему ему это. Значит, что? Личная встреча. Так? А randevu у них покуда не было. Встретятся – накроем. Уважаемую Марию Степановну мы из вида не упускаем – как нитка за иголкой. Наши агенты ее днем и ночью пасут, разве что под кроватью у нее не ночуют. Куда она от них денется?

– А вдруг? – поддразнил я. – Это же вы, помнится, как-то сказали, что в жизни все бывает, даже то, что никогда не бывает?

– Хвошиков, – уточнил Борин, – он так говорит.

– Но вы-то согласны с сиим афоризмом?

– Справедливая мысль, – кивнул Борин. – В жизни все бывает. Это верно. Вот потому-то я запасся еще одним выходом на Кустаря. Я ведь не зря список жиздринцев, имеющих жительство в Москве, составлял...

– Вы что же, их всех в пособники к Перхотину определили?

– Всех не всех, а на одного кое-какой материал у меня имеется. И Кустарь, говорят, ему как-то визит нанес, и Улиманова... Похоже, он все ювелирные изделия через Улиманову скупает. А может, и наводкой не брезгает. Мы сейчас все это проверяем. Ну и его, натурально, под своим попечением держим. Так что Кустарю деваться некуда: куда ни кинь – везде клин. А из Москвы он без крайней нужды никуда не уедет. Он же скопидом: свое кровное за здорово живешь не бросит. Да и привычно ему тут, все налажено, все известно – как в собственной избе. А мужичок он основательный, не вертопрах какой, чтобы с места на место мотылять. Ежели где осел, то крепко. Такого только с корнем выдернешь.

Рассуждения Борина выглядели убедительно. Действительно, судя по всему, арест Кустаря – дело времени. На неделю раньше или на неделю позже, но на крючок он попадется. А там вполне можно «доплясать» и до тех, у кого хранилось письмо неизвестного.

Я поинтересовался жиздринцем, который занимался скупкой драгоценностей.

– Старый наш знакомый, – сказал Борин. – Вы его знаете. По Патриаршей ризнице проходил. Ему Дублет долю Никиты Африкановича Махова продал – черную парагону с митры Никона и кокосовые жемчужины.

– Уж не член ли Союза хоругвеносцев?

– Он самый, – подтвердил Борин, – Анатолий Федорович Глазуков.

Поистине пути Господни неисповедимы!

Допрашивая в восемнадцатом Глазукова, я не сомневался, что этот рыхлый, беспрерывно потеющий человек с испуганными глазами будет теперь за версту обходить те места, откуда дорога ведет в тюрьму. «Я же не жулик какой, – со слезой в голосе говорил он мне. – Я же человек честный, в темных делах никогда замешан не был, вот только с этими жемчужинами черт попутал...» И вот тот же неутомимый черт вновь сбил члена Союза хоругвеносцев с тернистого пути праведников.

Тяжела была бы без черта людская доля. Без Бога еще туда-сюда, а без черта не обойтись. И сослаться есть на кого, и опереться, и лишние грехи сбросить... Кем его, трудягу, заменишь? Неизменный друг страждущего человечества! Не каждый выдюжит тяжесть десяти заповедей. Вот и Анатолий Федорович Глазуков – не зря, видно, потел...

Улыбнулся я, похоже, не к месту, потому что Борин удивленно приподнял брови.

– Продолжайте, Петр Петрович. Я вас слушаю.

– Так вот, помимо наружного наблюдения за домом Глазукова мы и внутренним пользуемся.

Детали меня не интересовали, но Борина следовало поощрить.

– Внедрили нашего сотрудника?

– Нет. Его приказчик нам услуги оказывает, – не без некоторой доли самодовольства сказал Борин. – Верно, тоже его помните. Филимонов.

Борин снова достал из портсигара папиросу и на этот раз не удержался – закурил.

В его маленькой комнате удушливо пахло нафталином. Этот запах преследовал меня во всех учреждениях, где я успел побывать. Считалось, что нафталин предохраняет от тифа. Судя по густоте запаха, Борина в Центропрозыске ценили...

– Нафталином вас снабдили щедро. А бумагой?

Борин достал из ящика письменного стола стопку бумаги, и мы приступили к обсуждению плана розыска ценностей «Алмазного фонда».

В бригаде «Мобиль» числилось двадцать семь оперативных сотрудников. По мнению Борина, восемь из них можно было без особого ущерба для других дел перебросить на розыски ценностей «Фонда». Я округлил это число до десяти и тут же договорился по телефону с начальником Московского уголовного розыска Давыдовым, что его работники, ведущие наблюдение за Улимановой и Глазуковым, тоже поступят в мое распоряжение.

Таким образом, группа выросла до восемнадцати человек.

К сожалению, среди этих восемнадцати специалистов сыскного дела было немного. Самостоятельно могли работать лишь четверо. И все же роптать на судьбу не приходилось. Как-никак в этой четверке были Павел Сухов и старый сыщик Хвощик, извлеченный мною по просьбе Борина в восемнадцатом году из артели «Раскрепощенный лудильщик».

Работу предполагалось вести в нескольких основных направлениях. Прежде всего – члены «Алмазного фонда».

В своей докладной президиума Совдепа Давыдов не покривил душой, утверждая, что «Алмазный фонд» не сыграл существенной роли в борьбе против советской власти. Действительно, в начале восемнадцатого года организация фактически распалась. Но это совсем не означало, что ее бывшие члены, все как один, сложили оружие. Примером мог служить тот же Афанасий. А ведь вполне возможно, что Афанасий был не одинок.

Сведения о членах «Фонда» и их деятельности могли дать нам ориентир для розыска ценностей.

Во-вторых, Кустарь, к которому нас должны были привести канатчица Улиманова и вновь поддавшийся искушениям черта Анатолий Федорович Глазуков.

В-третьих, Галицкий.

Следовало установить его местопребывание и, если представится такая возможность, подробно допросить. Для этого нужно было попытаться использовать легальных анархистов, которые в восемнадцатом имели какое-либо отношение к Московской федерации анархистских групп, в частности к помощнику коменданта Дома анархии Ритусу и отряду «Смерть мировому капиталу!».

В-четвертых, Елена Эгерт.

Кто она и что она? Действительно ли Эгерт увезла драгоценности, а если да, то где они теперь?

Источниками сведений могли стать те же анархисты и соседи Эгерт. Возможно, удастся разыскать ее родственников, друзей, знакомых.

В-пятых, Афанасий.

Его «разработка» представлялась весьма перспективной. О нем должны были знать монахи Валаамского монастыря, жители Алапаевска и сотрудники соответствующих органов на Урале.

В-шестых, предполагалось через руководителей подпольных центров попытаться выяснить, кого имел в виду неизвестный под кличками Красавец, Аристократ, Заика. Здесь, разумеется, приходилось рассчитывать только на везение. И, внося этот пункт в план розыскной работы, Борин позволил себе слегка улыбнуться. Дескать, у каждого свои слабости. Стоит ли из-за этого спорить?

Кроме того, нужно было досконально прощупать возможные каналы реализации ценностей. Их могли продать или заложить тот же Афанасий, который так щедро раздавал деньги в Алапаевске, Елена Эгерт, Галицкий.

Следовало опросить владельцев ювелирных магазинов и ростовщиков в разных городах.

К концу дня план розыскной работы по «Алмазному фонду» уже лежал на столе Ермаша.

Ермаш внимательно читал, подолгу останавливаясь на каждой странице. Лицо его светилось простодушием, и это простодушие наводило меня на мрачные мысли. Видимо, так же простодушно выглядел в определенные минуты евангелический скептик Фома, у которого чесались руки от непреодолимого желания поскорей и поосновательней ощупать раны своего ближнего.

– Что скажешь?

– Красиво написано, – одобрил Ермаш. – Почерк – загляденье.

– Все?

– Все. А тебе мало?

– Покуда достаточно.

Он подписал мандаты сотрудникам бригады, которые на неопределенное время должны были покинуть Москву, и напомнил:

– Вначале было слово...

– Будет и дело.

– Вот тогда и потолкуем. А сейчас что? Красиво написано. Хоть в рамочку да под стекло.

В отличие от Рычалова Ермаш обладал чувством юмора. Мне даже показалось, что с избытком...

2

К моему немалому удивлению, отыскать людей, имевших в свое время какое-то отношение к Московской федерации анархистских групп, оказалось не так уж сложно.

Несмотря на разоружение отрядов черной гвардии и события, связанные со взрывом в Московском комитете партии, Москва по-прежнему кишела анархистами всех мастей и направлений.

Здесь находились Всероссийская федерация анархистов, которая издавала свой еженедельный журнал, и Московский союз, куда помимо универсалистов вошли также анархо-индивидуалисты.

Пропагандировал на московских фабриках и заводах анархо-кооператор Атабекян. Выступали с лекциями неутомимые фантазеры братья Гордины.

И Липовецкий, не задумываясь, перечислил десятка два людей, которые могли бы мне пригодиться в моей «полицейской», как он выразился, работе.

Среди названных им оказалась и фамилия патриарха русских бомбометателей Христофора Николаевича Муратова.

Отец, как именovali Муратова его сподвижники, вполне заслуживал участи Ритуса. Но за него было его богатое революционное прошлое. Поэтому Муратова в конце концов полностью освободили от наказания.

– Что он теперь делает? – спросил я у Липовецкого.

– Обижается, – коротко ответил Зигмунд.

Этот ответ не только исчерпывающе характеризовал отношение Отца к происходящему, но и всю его послереволюционную деятельность.

Как и многие анархисты-эмигранты, начисто оторвавшиеся от русской действительности, Отец считал, что русский народ, народ-бунтарь, поднявший в 1917 году, в полном соответствии с учением Михаила Бакунина, кровавое знамя всемирного восстания, нуждается лишь в одном – в вождях. А такими вождями, естественно, были старые, закаленные в борьбе бойцы-анархисты. По глубокому убеждению Муратова, народ с нетерпением ждал их возвращения на родину, чтобы под их руководством сбросить с себя путы государственности, которые навязывали массам всякие там монархисты, кадеты, большевики или эсеры.

И, чувствуя свою ответственность перед народом, который изнывает в ожидании, Муратов, преодолев тысячи трудностей, возвращается в Россию.

Но, увы, никто не украсил цветами и флагами железнодорожную платформу, на которую ступила нога Муратова. Не было ни речей, ни митингов.

Как тут не обидеться на Россию и русский народ?

Другой бы на его месте плюнул на все и вернулся в солнечную Испанию. А Отец не вернулся. Он, как всегда, решил проявить великодушие и простить эту несчастную, погрязшую в невежестве Россию. В конце концов, несмотря на свой революционный инстинкт, массы слепы. Надо им открыть глаза.

И Муратов с жаром берется за эту трудную, но необходимую работу. Он выступает на митингах, посещает фабрики и заводы, выезжает в Кронштадт – все напрасно. Массы не желают прозревать. И вообще такое впечатление, что их совершенно не тяготят путы большевистской государственности.

Для чего, спрашивается, он лучшую часть своей жизни провел в тюрьмах Австро-Венгрии, Испании и Франции?

Затем новая, еще более жгучая обида. Ее нанесли Муратову единомышленники.

Неожиданно пошел на сотрудничество с большевиками член ВЦИК Александр Ге, на которого Отец возлагал столько надежд. За ним – один из организаторов Октябрьского восстания, член Военно-революционного комитета при Петроградском совете Шатов. Протянули руку большевикам участники штурма Зимнего дворца Анатолий Железняков и Мокроусов...

На кого же положиться?

Ответ пришел с Украины, где по бескрайним степям, опережая тачанки, катилась слава батьки Махно.

Ведь как писал Бакунин? «Кто не понимает разбоя, тот ничего не поймет в русской народной истории. Кто не сочувствует ему, тот не может сочувствовать русской народной жизни... Разбойник в России настоящий и единственный революционер – революционер без фраз, без книжной риторики, революционер непримиримый, неутомимый и неукротимый на деле, революционер народнообщественный, а не политический и не сословный...»

Муратов все более убеждался, что «длинноволосый мальчуган» именно тот человек, который сможет вывести русскую революцию из тупика, куда ее загнали большевики, и повернуть на правильный путь, предначертанный Бакуниным.

Старания Отца привлечь к махновщине крупных деятелей русской анархии особого успеха не имели. С Махно установила контакт только украинская группа «Набат». Зато Муратова очень обнадежило восстание, поднятое против советской власти командиром частей, взявших Одессу, «атаманом партизан Херсонщины и Таврии» Григорьевым.

Никакого отношения к анархистам Григорьев не имел, и его расхождения с советской властью носили не столько теоретический, сколько практический характер. Когда полки Григорьева вошли в Одессу, в городе начались такие грабежи, что все повидавшие одесситы и те удивились. Одесский ревком принял соответствующие меры, и Григорьев оскорбился: а из-за чего, собственно, проливалась кровь? По его мнению, запрещение грабежей было открытой контрреволюцией, прямым вызовом вождю трудящихся масс, «атаману партизан Херсонщины и Таврии». И вскоре Махно получил от Григорьева дружескую душевную телеграмму: «Батько, чего ты смотришь на коммунистов? Бей их!...»

Конечно, атаман Григорьев никак не вписывался в образ великодушного русского разбойника, созданный пылким воображением Муратова. Но присоединение его войск к отрядам батьки могло сделать махновщину внушительной силой, а это, с точки зрения Отца, было главным.

Муратов с нетерпением ждал сообщения о союзе Махно с Григорьевым, который должен был увенчаться провозглашением царства анархии на всей территории Украины. А там – чем черт не шутит? – может, придет день, когда махновские тачанки со свистом и гиканьем промчатся по улицам Петрограда и Москвы... Все может быть!

В Москву просачивались скудные сведения о встрече Махно с Григорьевым, о переговорах между ними и, наконец, о состоявшемся соглашении, по которому Григорьев становился командующим объединенными силами, а Махно – председателем Реввоенсовета. Зигмунд утверждал, что в этот день Муратов впервые в своей жизни выпил рюмку водки.

И напрасно, потому что на следующий день все газеты опубликовали полученную с юга телеграмму.

«Всем. Всем. Всем, – значилось в ней. – Копия – Москва, Кремль. Нами убит известный атаман Григорьев». Подписи: Махно, начальник оперативной части Чучко.

На кого же положиться? Теперь на этот вопрос не смог бы, пожалуй, ответить и сам Бакунин.

И Христофор Николаевич снова обиделся. Обиделся окончательно и бесповоротно.

Он был обижен на неблагоприятную Россию, на историю, на диктатуру пролетариата, на крестьян, которые приняли эту диктатуру, на батьку Махно, убившего по своей глупости и политической безграмотности атамана Григорьева, на идиота Григорьева, который из-за той же политической безграмотности позволил убить себя батьке Махно, на большевиков, на недальновидных и беспринципных коллег по партии, на свою квартирную хозяйку, которая, считая, видимо, что он печатает деньги, ежемесячно требовала с него плату за квартиру, не учитывая его финансовых затруднений, – на всех.

Единственный человек, на которого патриарх русских бомбометателей, кажется, не обижался, был он сам. Но что значит один человек в этом многомиллионном мире, где люди руководствуются всем, чем угодно, кроме разума и святых идей всемирной анархии?

Я не был уверен, захочет ли Муратов со мной встретиться. Как-никак, а мое имя было связано для него с одной из первых обид, которые его ожидали в России. Ведь ценности «Алмазного фонда» и Патриаршей ризницы предназначались им для формирования отрядов черной гвардии. Правда, теперь все это было вчерашним днем, забавным эпизодом, пригодным лишь для будущих мемуаров. А то, что этот курьез завершился убийством Прилетаева и расстрелом Ритуса, особого значения, разумеется, не имело: Отец всегда философски относился к чужой смерти.

И все же неудача с драгоценностями, вывезенными из Краскова, могла царапнуть его самолюбие, а таких царапин Муратов не прощал.

Но мое предложение о встрече, сделанное ему по телефону, никаких возражений не вызвало.

– А почему бы и нет? – сказал он. – Заезжайте, мой дорогой. Старым друзьям всегда есть о чем поговорить.

В его приторном, как патока, голосе ощущалась кислинка. Но заниматься дегустацией мне было ни к чему.

– Когда можно к вам приехать?

– Завтра в середине дня вас устраивает?

– Я бы предпочел сегодня.

– Как всегда, торопитесь? Ну что ж, можно и сегодня. Я не у дел. Когда прикажете ждать?

– Через час, – сказал я и, положив на рычаг трубку, дал отбой.

Муратов снимал квартиру на окраине Москвы в ветхом деревянном доме, первый этаж которого некогда занимал магазин бакалейных и колониальных товаров.

На шаткой лестнице, ведущей на второй этаж, к затхлому запаху гнилой древесины прилежал густой аромат корицы и других экзотических пряностей.

Открыла мне пожилая простоволосая женщина, видимо, хозяйка.

– К Муратову, что ли?

Я кивнул.

– Ноги вытрите.

Рекомендация была нелишней: двор, в глубине которого стоял дом, был запружен грязью.

Из глубины большой полутемной передней появилась другая женщина, сухощавая, светловолосая. Казалось, она только что сошла с полотна художника-кубиста: вычерченные с помощью линейки идеально прямые линии узкого лица, тупые углы бровей, треугольник маленького подбородка – ни одной округлой линии. Портрет неизвестной был выполнен в серебристо-серых тонах.

– Драуле, – сказала произведение кубиста и протянуло мне угловатую костлявую руку.

Об этой американской анархистке, приехавшей в Россию для изучения тактики русских анархистов в условиях Гражданской войны, я слышал от Зигмунда, которому она успела порядком надоесть.

При всех своих сомнительных достоинствах Драуле отличалась двумя несомненными недостатками: приличным знанием русского языка и неисчерпаемой любознательностью.

Устав от бесконечного потока вопросов, Зигмунд мечтал сплавить американку куда угодно, даже к батьке Махно. «Если «длинноволосый мальчуган» в конце концов ее пристрепит, то меня не будет среди тех, кто бросит в него камень», – доверительно сказал он мне.

– Прошу вас, – гостеприимно сказала Драуле.

Похоже, она была здесь своим человеком. Меня это не обрадовало. Я бы предпочел побеседовать с Муратовым с глазу на глаз. Но выхода у меня не было.

Я ожидал застать Отца за разработкой конструкции новой бомбы, предназначенной стать надежным залогом грядущего счастья человечества и отправной точкой для всемирной гармонии. Но ошибся. Муратов сидел на цветастой козетке и мирно пил морковный чай с сахарином. Заходящее солнце высвечивало его серебряные волосы. Этот милый хрупкий старичок, от которого веяло покоем и патриархальностью, не имел ничего общего с известным террористом.

Динамит? Международные заговоры? Выстрелы? Покушения? Ну что за фантазии!

Такие старцы копаются не спеша в саду, рассказывают сказки внукам, поучают сыновей («В наше время, мой милый...») и читают на ночь сентиментальные романы из жизни добропорядочных буржуа.

Муратов сделал вид, что хочет подняться мне навстречу, а я сделал вид, что не хочу обременять его излишними движениями – старость следует уважать.

– Садитесь. – Он показал на место рядом с собой и с предупредительностью опытного гида объяснил Драуле: – Это Косачевский, Эмма. Леонид Борисович. Сын священнослужителя и большевик. Один из тех, кто разоружал наши дружины. – Он помолчал, словно что-то припоминал, и добавил: – Мой друг.

– Косачевский? – переспросила Драуле и что-то записала в своем пухлом блокноте. Произведение кубиста одолевала жажда познания...

Да, больше всего Зигмунду мешала интеллигентность. Будь я на его месте, и Эмма Драуле, и ее блокноты были бы уже за тысячи верст от Москвы.

– Вы все записываете? – доброжелательно поинтересовался я.

Ее улыбка с тщательностью гимназиста первого класса воспроизвела трапецию:

– По возможности.

– Вон как?

Еще одна трапеция. Пошире.

– Русская революция – кладовая опыта.

Кажется, американка считала, что пользоваться чужими кладовыми можно и без разрешения хозяев...

Муратов наслаждался. Теперь я понял, почему он так охотно откликнулся на мое предложение: старичок просто соскучился. Ему хотелось развлечься.

Лишать Отца одного из немногих удовольствий, которые еще могла дать ему жизнь, было бы, конечно, жестоко. Но он уже достиг того почтенного возраста, когда во всем должна соблюдаться мера. Поэтому, выпив предложенную мне чашку чаю и поговорив минут пятнадцать на общие темы, я вспомнил, что Драуле ждет Липовецкий.

– Товарищ Липовецкий? – Она поспешно захлопнула блокнот.

– Да, Зигмунд Брониславович. Совсем забыл. Я ведь, признаться, давно не был в дамском обществе, особенно таком приятном.

– У него ко мне дело?

– Видимо. Во всяком случае, он вас разыскивал. Вы, кажется, о чем-то его просили. Муратов подозрительно посмотрел на меня, потом на американку. Та встала.

– Вы нас покидаете?

– К сожалению.

Мы обменялись рукопожатиями.

– Надеюсь, вы меня извините? – почти кокетливо сказала она.

– Безусловно.

Спина у нее, как я убедился, была тоже прямоугольной. В этом был определенный шарм. Муратов допил чай. Поставил чашку на стол. Искоса поглядел на меня:

– Насчет Липовецкого соврали небось?

– Скажем так: использовал тактический маневр.

– Тактический?

– Именно. Думаю, ей это пригодится. Ведь она приехала сюда изучать тактику...

Отец чмокнул губами:

– А вы веселый человек, Косачевский. Истинно русский. Россия, она страна веселая. Со времен Ивана Грозного веселится. Ее кнутами – хихикает. На дыбу – хохочет. Теперь вот ваши чрезвычайки ее к стенке поставили. А ей хоть бы что, и у стенки пляшет... Вприсядочку. Разлюли-люли малина, – ввернул он «истинно русское выражение», которое на досуге извлек из словаря где-нибудь в Вене или Мадриде. – Ну-с, чем обязан?..

Его уши налились кровью, а небесно-голубые глаза стали прозрачными от бешенства. Какие уж там внуки, садик да сентиментальные романы? Динамитику бы нам пуд-другой...

– Рад, Христофор Николаевич, – сказал я.

– Чему? Тому, что страна веселая, или тому, что к стенке ее поставить ухитрились?

– Нет.

– А чему же?

– Тому, что вы еще не растеряли бывшего пыла. Вашей молодости радуюсь, Христофор Николаевич. Радуюсь и немного завидую. Но стоит ли так волноваться? Пусть себе веселится. Разве переделаешь характер? Да и не такое уж плохое качество жизнерадостность.

– Э-хе-хе!

Он вздохнул, подложил себе под спину подушечку и вновь превратился в милого старичка, думающего о своей душе и вечности.

– Чем же обязан, мой дорогой?

Приступить к цели своего визита я поостерегся. Пусть Муратов сначала остынет. «Алмазный фонд» лучше оставить на десерт. А вместо закуски можно предложить беседу о Махно. Почему не рассказать о встрече с ним? Только сделать это следует деликатно – без иронии, но и без настораживающего восхищения. Дескать, чужак, конечно, разбойник, однако какая широта натуры, размах, сила воли!

Я полагал, что обида Отца на любимца не была чрезмерной. Излишне веселая Россия, верно, доверия не оправдала: взяла и кинулась очертя голову в объятия к большевикам, которые только о том и мечтают, как бы поскорей поставить ее к стенке. Массы, те тоже, прямо скажем, по-свински с Отцом поступили, в самую душу харкнули. Что же касается Махно... Ну что с Нестора Ивановича возьмешь? Человек есть человек... Ну ошибся малость. Ну, убил в горячах не того, кого нужно. С кем не бывает? Опять же отсутствие культуры, поверхностное знакомство с идеями анархизма, дурное влияние большевиков... В конце концов, сам Отец тоже не без греха. Разве всегда его бомбы взрывались только там, где положено? Нет, конечно, всякое случалось. Без ошибок не обойтись. Всем известно: лес рубят – щепки летят. И какие щепки! Порой из-за них и леса не разглядишь...

Я не ошибся: поданное мною блюдо пришлось Муратову по вкусу.

По мере моего рассказа о встречах с руководителями повстанческой армии его лицо все более и более оттаивало. Особенно Отцу понравилось, что в ближайшем окружении Махно есть рабочие, а знаменитый Белаш, начальник штаба, разрабатывавший и обобщавший тактику гражданской войны, по специальности железнодорожный машинист. За одно это он готов был простить мне упомянутое вскользь решение общего собрания махновцев из 1-го Екатеринбургского полка, на котором обсуждался вопрос о необходимости выполнять приказы командиров, – «Обсудив этот вопрос, собрание товарищей-повстанцев решило единогласно приказы выполнять, но с тем условием, чтобы командиры, издающие их, были трезвы».

– Крестьянская стихия, – благодушно заметил Отец и даже улыбнулся.

Он сидел в коконе из подушечек, подперев ладонью подбородок, и глаза его туманила старческая сентиментальность. Если бы все эти подушечки можно было перенести в тачанку, он бы, пожалуй, тряхнул стариной.

Я представил себе Отца за гашеткой «максима» и развеселился.

Муратова интересовали классовый и возрастной состав махновских частей, принцип выборности командного состава, роль и структура Реввоенсовета, культотдела, подход батьки к решению финансовых и экономических проблем в захваченных им городах. Мое замечание о возрастающем влиянии на Махно анархистов из группы «Набат» он воспринял очень болезненно. Среди набатовцев было много анархо-синдикалистов, а Отец считал это направление в анархистском движении наиболее пагубным.

– Суслики, – сказал он, – скунсы. Испортят батьку, обинтеллигентят.

Разговор о «длинноволосом мальчугане» несколько затянулся. Но зато когда я наконец рискнул затронуть интересующую меня тему, Отец находился в том расслабленном состоянии, которое сулило успех.

– Ценности «Алмазного фонда»? – В глазах его мелькнуло удивление, причину которого я понял несколько позднее. – А вы любопытный человек, Косачевский. Весьма любопытный...

– Вы хорошо знали Галицкого, Христофор Николаевич?

– Что значит хорошо? Знал, встречался, разговаривал. Принимал в нем участие, оказывал в необходимых случаях поддержку...

Отец скромничал. О Галицком он знал многое.

Выяснилось, что командир партизанского отряда родом из Тобольска, сын крупного местного чиновника. К анархистам примкнул еще в гимназии, в шестом или седьмом классе. Участвовал не только в пропагандистской, но и в боевой работе. После вооруженной экспроприации крупной суммы денег был в январе семнадцатого арестован, но вскоре освобожден. Сформировал в Тобольске небольшой отряд, который занимался разоружением городских и жандармов. За самовольный расстрел провокатора, внедренного в группу анархо-коммунистов, был предан суду. В тюрьме познакомился и сдружился с Ритусом. После Октябрьской революции вместе с другими политическими был освобожден.

Когда атаман Дутов, возглавивший в Оренбурге Комитет спасения родины и революции, совершил переворот и арестовал Оренбургский Совет рабочих и солдатских депутатов, отряд Галицкого присоединился к красногвардейским отрядам и участвовал в боевых действиях на Оренбургском фронте. В дальнейшем ему поручили сопровождать отправляемые из Сибири в Москву эшелоны с хлебом.

В феврале 1918-го, когда немцы нарушили перемирие и в Московской федерации анархистских групп дискутировался вопрос об отправке на фронт отрядов черной гвардии, Галицкому и его людям предложили остаться в Москве.

По отзыву Отца, отряд «Смерть мировому капиталу!», насчитывавший тогда около ста человек, был наиболее дисциплинированным и боеспособным. Поэтому ему поручили охрану Дома анархии, а Галицкого предполагалось избрать в секретари федерации.

Я поинтересовался, участвовал ли Галицкий вместе с Ритусом в «красковском пикнике».

Оказалось, что нет.

– Мы решили его к этой акции не привлекать, хотя Ритус и вносил такое предложение.

– Почему же?

– Галицкий не был в курсе предшествовавших событий. Кроме того, по своему характеру он не совсем подходил к этой операции. Он, я бы сказал, отличался излишней впечатлительностью, – объяснил Муратов. – В этом отношении он был похож на вашу приятельницу Штерн.

Кажется, этот юноша, так страстно мечтавший поставить меня к стенке, не зря мне понравился...

– А бойцов из отряда «Смерть мировому капиталу!» Ритус использовал в Краскове?

Отец улыбнулся и поглубже втиснулся в свой кокон из подушечек:

– Не помню. Это так давно было, мой дорогой...

– Но кого-нибудь из тех, кто отправился с Ритусом в Красково, помните?

– Их давно нет в Москве. Зачем ворошить старое? Люди, которые помогли Ритусу изъять ценности, выполняли обычное задание. Не будем их трогать.

Я спросил, почему Ритус отвез ценности в особняк Лобановой-Ростовской.

– В Доме анархии бывало много случайных посетителей, а в особняк Лобановой-Ростовской посторонние проникнуть не могли. Кроме того, Ритус полностью доверял Галицкому.

– А вы, Христофор Николаевич?

– Тоже.

– Тогда?

– И тогда и сейчас. Ему можно было доверять. При всех своих недостатках Борис всегда отличался честностью. В его отряде расстреливали за каждый случай грабежа.

– Почему же он отдал часть ценностей своей любовнице?

– Это он сделал по моему совету. Мы считали целесообразным разделить ценности. И не ошиблись. То, что находилось в особняке Лобановой-Ростовской, было вами тотчас же изъято.

– Значит, у Елены Эгерт драгоценности находились только на хранении?

– Разумеется.

– Следовательно, вы ей тоже доверяли?

– В отличие от вас, мы всегда доверяем, Косачевский.

– Это не ответ, Христофор Николаевич. Вы ее лично знали?

– Знал.

– Давно?

– С февраля восемнадцатого.

– Через Галицкого?

– Да.

– Она тоже анархистка?

– Беспартийная. Эгерт, насколько мне известно, стояла в стороне от политики.

– Но сочувствовала анархистским идеям?

– Как и каждый порядочный человек, – подпустил шпильку Муратов.

– Бывала в Доме анархии?

– Довольно часто.

– Вы ей раньше что-либо поручали?

– Случалось.

– А какого рода были эти поручения?

– Не террористического характера.

– Уроженка Москвы?

– По-моему, Петербурга. Но жила в Тобольске. Служила там у кого-то в гувернантках.

– Галицкий с ней познакомился в Тобольске?

– Видимо.

– Они вместе в Москву приехали?

– Нет. Борис говорил, что они встретились здесь случайно. Она тут гостила у сестры.

Итак, у Елены Эгерт есть сестра, которая жила, а возможно, и до сих пор живет в Москве. Но что-либо выяснить мне не удалось. Кажется, Муратов действительно ничего о ней не знал. По его словам, он видел ее лишь один раз, на квартире у Елены Эгерт.

– Куда Галицкий уехал в мае восемнадцатого?

– К матери.

– В Тобольск?

– Да.

– А затем?

– Был в Екатеринбурге.

– Где он сейчас?

– Представления не имею. Во всяком случае, не в Москве.

– Вы с ним переписывались?

– До середины восемнадцатого года.

– Я бы хотел вас попросить об одной любезности, Христофор Николаевич. Вы не могли бы познакомить меня с письмами Галицкого?

– Сожалею, но я не имею привычки сохранять письма. Да и не было в них ничего такого, чего бы вы не знали. – Последние слова он почему-то выделил курсивом. – В них было лишь то, о чем вы предпочли бы забыть...

– Простите?

– Охотно прощаю, мой дорогой.

– Вы что-то начали говорить загадками, Христофор Николаевич.

– А вы не обращайте внимания. Какой со старика спрос? Да и устал я. Не пора ли кончать, а?

– Еще несколько минут, Христофор Николаевич.

– Ну если несколько минут...

– Елену Эгерт вы после марта восемнадцатого видели?

– Видел, мой дорогой. Раз три-четыре.

– Когда?

– В мае и июне восемнадцатого. После отъезда Галицкого. Он меня просил навещать ее.

Мы с ней очень подробно обо всем говорили. Особенно о вас.

Снова непонятный мне курсив...

– Вы что-то недоговариваете, Христофор Николаевич.

– А вам бы хотелось, чтобы я договорил?

– Естественно.

– Вы в этом уверены?

Отец откинулся на подушки и прошелся своими глазками, словно штангенциркулем, по моему лицу.

– Будем откровенны, мой дорогой, а?

– С удовольствием.

– Тогда объясните, зачем вам потребовалось ломать комедию?

– Какую комедию? – опешил я.

– Да вот эту, с «Алмазным фондом». Ведь я все знаю от Галицкого и Эгерт.

– Что именно?

– Все, – повторил Муратов.

Это «все» расшифровывалось в нескольких фразах. Оказалось, что в марте восемнадцатого Елена Эгерт никуда из Москвы не уезжала, о чем мне, Косачевскому, известно лучше, чем кому бы то ни было. Опасаясь уголовно-разыскной милиции, Галицкий по распоряжению

Отца перевез находившиеся у нее драгоценности на квартиру одного из анархистских боевиков. Туда же переехала и Эгерт. Квартира считалась надежной. О ней не знал даже Ритус. И все же Косачевский каким-то образом установил ее. Когда командира отряда «Смерть мировому капиталу!» арестовали, к Эгерт явился Косачевский. Чемодан он получил обманным путем, сославшись на Галицкого. Поняв, что произошло в действительности, Эгерт наложила на себя руки. Но ее удалось спасти. По просьбе Галицкого, который никак не мог отложить своего отъезда (чем была вызвана такая поспешность, Отец умолчал), Муратов несколько раз навещал Эгерт в больнице.

И вот теперь Косачевский делает вид, что он очень озабочен розысками давно им найденного.

Нелепость? Да, но только в том случае, если он в 1918 году сдал драгоценности властям. А если нет, то все становится на свои места.

Эгерт и Галицкий, которыми он так интересуется, всего лишь нежелательные свидетели происшедшего. Он хочет их найти и устранить. Такую же участь он готовит и Отцу.

Но попович переоценил свои карты. Его партнер не даст ему сорвать банк. Вон они, козыри, на столе.

Так-то, уважаемый товарищ Косачевский!

Отец готов был принять все меры предосторожности, но не осуждал меня. Мой предполагаемый поступок полностью вписывался в его представление обо мне и обидевшей его России, где только и делают, что крадут и веселятся. Веселятся и крадут. Отец испытывал горестное удовлетворение: он не ошибся ни во мне, ни в России. Такая уж страна. Печально, конечно, но... приятно.

Я прикинул все плюсы и минусы. Разубеждать Отца не стоило. Сложившаяся ситуация могла дать мне в дальнейшем определенные преимущества. Да и зачем старика разочаровывать? Ему и так досталось на родине.

– Еще чашечку чая?

– Пожалуй.

На этот раз глаза Отца голубели лаской. Кажется, он готов был меня полюбить. Не сразу, разумеется, постепенно.

– Что скажете, дорогой?

– Спасибо.

Действительно, я был ему искренне благодарен. Сегодня и «длинноволосый мальчуган», и он сам принесли нам существенную пользу. Похоже, бригада «Мобиль» приобрела неоценимых помощников.

Он заботливо размешал в моей чашке сахарин:

– Попробуйте. Не слишком сладко?

– В самую меру, Христофор Николаевич. Вы маг и волшебник. Ваш чай напоминает по вкусу довоенный.

– Очень рад, мой дорогой.

А ведь, кажется, он меня уже полюбил.

3

Появление лже-Косачевского, у которого оказались драгоценности «Фонда» или, по крайней мере, большая их часть, было неприятной неожиданностью. К многочисленным загадкам прибавилась еще одна. Предположить, что Эгерт солгала Галицкому, я не мог: ложь редко пытаются подкрепить самоубийством. Для этого выбирают другие, менее рискованные способы. А Эгерт, судя по рассказу Отца, пробыла в больнице длительное время.

Лже-Косачевским мог быть кто угодно: анархист, проведавший, где хранятся ценности, приверженец монархии, просто авантюрист. Но выйти на него мы могли только с помощью Эгерта, Галицкого или кого-нибудь из их окружения.

Где еще он мог почерпнуть сведения о ценностях? Только там.

Поэтому я не утратил интереса ни к бывшему командиру партизанского отряда, ни к его любовнице, ни к Афанасию.

Результатами встречи с Муратовым я был более или менее доволен: по крайней мере, как-то наметились пути розыска Эгерта и Галицкого – не определились, но наметились.

В Тобольске, где жили Галицкие и люди, у которых служила Эгерта, можно было собрать немаловажные сведения. Да и сама Москва открывала широкие возможности. То, что Муратов не захотел назвать больницы, где лечилась Эгерта, наводило на мысль, что любовница Галицкого обитает в Москве и по сей день. А если так, то почему не попытаться разыскать ее? Для этого можно было использовать больницу, сестру Эгерта, с которой она наверняка встречается, а возможно, и живет у нее, наконец, самого Христофора Николаевича Муратова. Зачем старику на всех обижаться и тосковать без дела в своей Марьиной роще? Пусть поработает. Ведь Отец считает, что, присвоив ценности «Фонда», я теперь стремлюсь найти и ликвидировать свидетелей. К Эгерту он относится хорошо. Следовательно, ежели она находится в пределах досягаемости, старик попытается предупредить ее об опасности. При хорошо поставленном наблюдении за любителем морковного чая и его немногочисленными посетителями это предупреждение принесет пользу не столько Эгерту, сколько нам.

Порадовало меня и сообщение Борина, который успел в тот день опросить прислугу генерала Мессмера (сам генерал скончался осенью прошлого года) и бывших соседей Эгерта по квартире. Выяснилось, что у Мессмера Эгерта была чуть ли не своим человеком. Горничная, служившая у генерала с 1913 года, говорила, что помнит ее по довоенному времени. Эгерта, по ее словам, жила тогда не в Москве, но время от времени приезжала сюда и останавливалась у своей старшей сестры, квартира которой находилась где-то в районе Шереметьевского переулка (генерал Мессмер снимал квартиру в бывшем доме вдовы действительного тайного советника Бобрищева по Шереметьевскому переулку). Это утверждение основывалось на том, что Елена никогда не пользовалась извозчиком, а приходила пешком. Сестру ее горничная не знала, но слышала, что та замужем за каким-то пьяницей чиновником и очень бедствует. К Мессмеру она никогда не приходила. Эгерта же неоднократно навещала генерала, который оказывал ей покровительство, хотя и был о ней, как казалось горничной, весьма невысокого мнения. Василий Мессмер просто не любил ее и в беседе с отцом называл как-то Елену Эгерта «медхен фюр аллее» – девочка для всех. Он считал, что та каким-то поступком опозорила род Мессмеров и теперь за это расплачивается. Что имел в виду Василий, горничная не знала.

Последний раз она видела Эгерта незадолго до кончины генерала, то есть в августе или сентябре девятнадцатого, через полтора года после исчезновения ценностей «Алмазного фонда» и неудавшейся попытки самоубийства. Они о чем-то очень долго разговаривали, не меньше часа.

Но самым любопытным было, пожалуй, то, что Эгерта появилась здесь как-то вместе с Олегом Мессмером – монахом Афанасием. Произошло это весной восемнадцатого, уже после похорон Василия Мессмера, когда прибывший в Москву Афанасий гостил у отца около недели. Тогда же к старику дважды приходила вместе со своим мужем и его племянница Ольга Уварова.

Таким образом, предположение Борина о том, что Афанасий и Эгерта хорошо знакомы, полностью подтвердилось. Теперь уже не было никаких сомнений, что дворник из дома Эгерта видел в марте восемнадцатого именно Афанасия, и никого иного.

Что же касается визитов к генералу четы Уваровых, то они, возможно, и не привлекли бы моего внимания, если бы Павел Алексеевич Уваров не фигурировал в материалах дела об ограблении Патриаршей ризницы. Ведь именно член совета «Алмазного фонда» Уваров пере-

дал в ноябре семнадцатого из Петропавловской крепости зашифрованное письмо казначею «Фонда» Василию Мессмеру. Кроме того, Уваров имел прямое отношение к Tobольску, где жили Галицкий и Эгерт. Когда мы взяли Ритуса, он показал на допросе, что бывший тобольский вице-губернатор Уваров осуществлял связь с приближенными царской семьи, которая находилась в том же Tobольске.

Тобольск, Tobольск и еще раз Tobольск. Тут было над чем поразмыслить.

Сведения, собранные Бориным об Эгерт, отличались поразительной несообразностью. Любовница командира отряда «Смерть мировому капиталу!» анархистского боевика Галицкого вдруг оказалась приятельницей схимника Афанасия, своим человеком в доме генерала Мессмера и хорошей знакомой отъявленного монархиста, члена совета «Алмазного фонда» Уварова.

Какие же еще нас ожидают сюрпризы?

– Послушайте, Петр Петрович, – сказал я, – а горничная не сообщила вам о многолетней дружбе, которая связывала покойного генерала Мессмера с Кустарем?

– Нет, – сказал Борин. Он никогда не мог сразу понять, когда я говорю всерьез, а когда шучу.

– Вот видите, самое главное она от вас утаила.

– Вы сомневаетесь в ее правдивости?

– Нет, Петр Петрович, не сомневаюсь. Все, что она вам рассказала, настолько абсурдно, что, скорее всего, является чистой правдой. Да и зачем горничной все это придумывать? Конечно же правда. Но уж больно неожиданная. Поэтому хочу вас на будущее предупредить, что теперь вы меня ничем не удивите. Я уже заранее допускаю, что Елена Эгерт вовсе не Елена Эгерт, а переодетая английская королева, покойный генерал Мессмер – тайный агент Махно, Муратов – свояк Распутина...

– Ну, а тот человек, который воспользовался вашим именем, чтобы присвоить ценности «Фонда»? – включился в предложенную игру Борин.

– Не догадываетесь?

– Нет.

– Деникин.

– Кто, кто?

– Антон Иванович Деникин, предшественник барона Врангеля.

Борин улыбнулся, и клинышек его бородки весело подпрыгнул.

– Помилуйте, Леонид Борисович, как генерал Деникин в Москве мог оказаться?

– Точно так же, как любовница командира отряда «Смерть мировому капиталу!» в доме генерала Мессмера, – объяснил я. – А впрочем, не буду отбивать у вас хлеб – выясните.

– Через ту же горничную?

– А почему бы и нет? Девушка, говорите, наблюдательная. И слушать умеет, и в замочную скважину заглядывать. Совсем не исключено, что Антон Иванович к старику на огонек забрел в жилетку поплакаться. Но какими сведениями она вас еще снабдила?

Борин развел руками:

– Разве мало?

– Да нет, с избытком. Но вы меня избаловали. А что дал опрос соседей Эгерт? «Английская королева» не появлялась больше в своем временном пристанище?

– Нет, к сожалению. Но ее сестра, или женщина, выдававшая себя за таковую, – на всякий случай оговорился Борин, – туда приходила. Дважды.

– Когда?

– Весной или летом восемнадцатого. Она интересовалась письмами на имя Елены.

– А такие письма были?

– Ни одного. Ни тогда, ни после.

– О чем она разговаривала с соседями?
– Только о корреспонденции. Якобы Елена просила перед отъездом справиться о письмах и переслать ей.

– Не говорила, от кого Эгерт ждала письма?

– Нет.

– И фамилию свою не называла?

– Представилась Марией Петровной.

– Номера телефона, конечно, не оставила?

– Нет.

– Внешность посетительницы соседи смогли описать?

– Более или менее. Похожа на Елену, но значительно старше. Думаю, идентифицировать сможем.

– А отыскать?

– Надеюсь, что тоже сможем. И ее, и Елену.

– Авось?

– Авось, – подтвердил он, не желая замечать моей иронии, и философски заметил: – Не такое уж плохое слово это «авось», Леонид Борисович. Осмелюсь доложить, что в сыске без него никак не обойдешься. Иной раз и палочкой-выручалочкой становится. Да еще какой! Ежели вдуматься, то вся земля русская испокон веку на «авось» стоит. А крепко стоит, не шатается.

За прошедшие два года у Борина развилась склонность к философствованию. Раньше он ограничивался сыском, теперь же мыслил в масштабах России. Профессор Карташов, считавший, что философов порождает голод, связал бы это с неуклонным уменьшением продовольственного пайка. По его мнению, главным препятствием прогресса всегда была сытость. В России это препятствие исчезло. Что-что, а жировая эпидемия республике не угрожала. Судя по очередям за хлебом, Москва уже созрела для того, чтобы в ближайшие месяцы дать миру Ньютона, Сократа, Дарвина и сотни полторы Гегелей. Жаль только, что они могут раньше оказаться на Ваганьковском кладбище, чем на Олимпе.

– Петр Петрович, – осторожно поинтересовался я, – у вас еще не появилась потребность создать собственную философскую систему?

Он с некоторым удивлением посмотрел на меня и отрицательно покачал головой. Это меня обрадовало. Если бы он стал Гегелем, то человечество, возможно, и выиграло, но бригада «Мобиль» наверняка бы проиграла. О Ваганьковском же вообще думать не хотелось.

– Тогда давайте попытаемся что-нибудь выкроить из вашего «авось», – предложил я. – Эгерт надо найти во что бы то ни стало. Туго нам без нее придется.

День выдался тяжелым и сумбурным. Освободиться мне удалось лишь к десяти вечера. Когда я приехал во 2-й Дом Советов, Липовецкий уже спал. На столе лежала записка: «Если можешь, не храпи. Мне завтра рано вставать. Зигмунд».

Забираясь в постель, я считал, что с сюрпризами покончено. Но ошибся: меня ожидал еще один...

Ни канализация, ни водопровод в нашем номере не работали. Электричество напоминало о себе временами. Зато телефон никаких нареканий не вызывал. Его пронзительный звон можно было услышать даже в коридоре.

В ту ночь он зазвонил около часа...

Зигмунд был интеллигентом уже в третьем поколении, поэтому он вскочил с постели первым.

– Тебя, – сказал он, и по его лицу нетрудно было догадаться, что он в эту минуту думает обо мне, Центророзыске и бригаде «Мобиль»...

– Косачевский у аппарата, – машинально сказал я, не в силах выкарабкаться из зыбкой трясины сонной одури.

Звонил дежуривший по Центророзыску Сухов.

– Л-леонид Борисович? – Павел после полученной на фронте контузии слегка заикался. – Извините, что беспокою. Но у нас тут ч-чрезвычайное происшествие...

– Что случилось?

– П-приказчик Филимонов принес табакерку работы П-позье.

Спросонья я никак не мог понять, что произошло и что он от меня хочет.

– Какая табакерка? Какой Позье?

– П-позье – брильянтик императрицы Елизаветы, – терпеливо объяснил Павел. – Эта т-табакерка числится в описи драгоценностей «Алмазного фонда».

Теперь что-то стало до меня доходить.

– Каким образом табакерка оказалась у Филимонова?

– Ему ее отдал в п-починку Глазуков. Там к-крапаны надо исправить, к-камни выпадают.

Вы меня с-слышите?

Я его слышал. Хорошо слышал.

Как табакерка Елизаветы, которая под седьмым номером числилась в описи драгоценностей «Фонда», попала к члену Союза хоругвеносцев? Неужто ее принес Кустарь? Но ведь за домом Глазукова установлено круглосуточное наблюдение.

– Где Борин?

– С-скоро приедет.

– Кто определил, что это табакерка Елизаветы? Вы сами?

– Н-никак нет.

– А кто?

– Ювелир Г-гейштор.

– Он сейчас у вас?

– Т-так точно. п – позвать его к телефону?

– Не надо. Пришлите за мной автомобиль.

Трубка облегченно вздохнула.

– Уже в-выслал, Леонид Борисович. Д-десять минут назад.

Сна как не бывало. Я положил трубку на рычаг, зажег свечу и стал одеваться.

Зигмунд натянул одеяло на голову и демонстративно повернулся на бок.

– Спишь?

Он промолчал. Весь его вид говорил о том, что ему плевать на меня, на Елизавету Петровну, ее придворного ювелира и табакерку работы Позье, утеху и гордость стареющей русской царицы. Плевать ему было и на профессора Карташова, прочитавшего мне некогда двухчасовую лекцию о табакерках XVIII века, когда табак нюхали бочары и императоры, священники и воины. По табакерке, говорил Карташов, можно было судить об имущественном положении ее владельца, о сословии, к которому он принадлежал, и даже о древности его рода. К каждому костюму полагалась особая табакерка. Одна – к выходному, другая – к будничному, третья – к дорожному.

Видимо, у принца Конти было несколько сот костюмов, так как после его смерти, по утверждению того же Карташова, осталось восемьсот табакерок. Собрание же табакерок Фридриха Великого насчитывало что-то около полутора тысяч.

Не отставала от моды и Елизавета Петровна. По словам Карташова, ее коллекция считалась одной из лучших в Европе, а табакерка работы Позье являлась жемчужиной всего этого собрания.

Видимо, у меня с Карташовым и покойной императрицей были разные вкусы. Во всяком случае, рисунок табакерки, сделанный ювелиром Гейштором, который оценивал ее перед войной четырнадцатого года, особого впечатления на меня не произвел.

Не поразила она моего воображения и сейчас, когда я получил возможность не только увидеть, но и повертеть ее в руках. Довольно массивная, оправленная в золото, она была сделана в форме рога изобилия и если чем-либо и отличалась от изделий подобного рода, то только количеством драгоценных камней – красных, синих, зеленых, голубых, желтых. Из-за самоцветов почти не видно было золота и резной янтарной подставки, украшенной серебряной филигранью. Та же серебряная филигрань паутинкой окутывала свободную от камней поверхность рога. В центре табакерки на овальном фарфоровом медальоне была изображена в облике Минервы сама Елизавета Петровна. В шлеме, панцире и голубом плаще, она восседала на облаках, которые прогибались под ее тяжестью. У ног Минервы пристроился вместе со своей трубой крылатый гений в лавровом венке. У него было счастливое лицо. Чувствовалось, что он наслаждается беззаботной заоблачной жизнью и очень польщен тем, что оказался в обществе дебелий императрицы. Елизавета снисходительно улыбалась. Она всегда любила переодевания и маскарады. Ее забавляли и шлем, и панцирь, и облака.

Героем дня, вернее, ночи, был приказчик Филимонов. Он чувствовал всеобщее внимание и искренне восхищался собой и своим почти что героическим поступком. Дескать, другой кто, из несознательных, принес бы в сыск табакерку? Ни в жизнь. Сунул бы в карман – и фьють, поминай как звали! А он, Филимонов, не сунул, потому как совесть имеет и преданность советской власти. Филимонов – человек. Вот как! А хозяин его, хотя и член Союза хоругвеносцев, а все одно – не человек. Фармазон он. За бриллианты мать родную продаст. А он, Филимонов, не продаст – кукиш.

И все же мне показалось, что в ликующую симфонию самолюбования, которая лилась из этого длинного жилистого человека, вплетались и грустные мотивы. Честность, она, конечно, добродетель. И в рай дорогу проторит, и все такое. А шубу с нее не скроить. И пропитания не даст. И вообще, чего она ко мне, дураку, привязалась, эта честность? Как муха осенняя. Жужжит, жужжит над самым ухом. И не прихлопнешь подлую – увертлива. Эх, Филимонов, Филимонов, и с чего тебе такая планида выпала?!

Чтобы заглушить непрошенные мысли, приказчик ненужно суетился, вертя головой, беспрерывно хватался за табакерку, сыпал горохом слов. Он хвалил себя, табакерку, Позье.

Умелец, по всему видать, что умелец. А каков трудяга! Полмира, говорят, исколесил, чтобы, значит, все ювелирные секреты выведать.

Ног своих швейцарец не жалел, это верно. Рассказывая мне о Позье, который ухитрился быть придворным ювелиром трех русских императриц, злоязычный Карташов сказал, что для этого швейцарцу пришлось приложить намного больше усилий, чем Ломоносову, чтобы стать великим ученым. Если Ломоносов прошел пешком от Архангельска до Москвы, то Позье, тогда еще мальчишке, пришлось с отцом в поисках счастья пройти всю Швейцарию, Германию, Голландию, а затем, совершив морское путешествие и высадившись в Архангельске, добраться тем же пешим порядком до Москвы. При этом ни Позье, ни его отец ни слова не понимали по-русски. «И все же ноги его Ньютоном не сделали», – заключил свой рассказ Карташов.

– А к-как она открывается? – спросил любознательный Сухов.

– Очень даже просто. Вот, глядите. – Приказчик Глазукова нажал указательным пальцем на один из бриллиантов, обрамляющих медальон, и крышка табакерки откинулась с мелодичным звоном. – Она раньше песенку играла, – объяснил Филимонов. – Устройство у нее внутри такое имеется для музыки. Да только испорчено оно, устройство это. То ли пружина сломалась, то ли колесико какое погнулось. Надо бы часовщику показать. Да только где такого часовщика возьмешь, чтобы и честным был и сведущим? Народ известно какой – ненадежный.

– 3-здорово сделано! – восхищенно сказал Павел, закрывая табакерку, и я подумал, что Позье, возможно, и не зря перетруждал свои ноги. Для того чтобы твоей работой любовались почти два столетия спустя, можно немного и походить. Особенно в молодости.

– Позье? – спросил я у Гейштора, который так же внимательно разглядывал потолок, как Сухов табакерку.

– Вне всякого сомнения, – подтвердил он.

В отличие от Кербеля Гейштор не был поэтом ювелирного дела и не любил лишних слов. Даже рифмованных. В его красивых темных глазах застыла грусть. То ли он скорбел о несчастном человечестве, то ли о своем разбитом сне. Но к достоинствам табакерки ювелир относился с тем же равнодушием, что и я.

– Удачное сочетание с-сапфиров и р-рубинов. Верно? – сказал Павел, которого буквально распирали недавно приобретенные познания в ювелирном деле. Сухову очень хотелось, чтобы еще кто-нибудь из сидящих в этой примыкающей к дежурке комнате отдал должное известному ювелиру и его произведению.

– М-да, – неохотно подтвердил заспанный Борин.

А Гейштор бесстрастно заметил:

– Лубок.

К счастью Сухова, в комнату заглянул только что сменившийся с дежурства агент первого разряда Московского уголовного розыска Прозоров, который вел наружное наблюдение за домом Глазукова.

Прозоров был артиллерийским офицером, затем командиром батареи в Красной армии, откуда демобилизовался по ранению.

– Глеб Григорьевич! – окликнул его Сухов. – Погляди-ка.

Прозоров, широкоплечий и гибкий, с выправкой кадрового военного, подошел к столу и тихо свистнул:

– Мать честная! Ну и ну. Это где ж такую раздобыли?

– У т-твоего.

– У Глазукова? С ума сойти!

Сухов удовлетворенно улыбнулся. Большого ему не требовалось.

Я попросил Прозорова отвезти ювелира домой, и Гейштор, у которого сразу же повеселели глаза, поблагодарил меня. Он не разделял склонности Позье к пешим прогулкам.

– Если вам потребуется заключение о подлинности табакерки, я к вашим услугам, – сказал он. – Но желательно, конечно, чтобы это было днем. Ночью я предпочитаю спать – с двенадцати до шести.

Сухов слегка сконфузился.

– Ч-чрезвычайные обстоятельства, Лев Самойлович.

– Да, да, я понимаю, – кивнул ювелир и неожиданно улыбнулся: – А рубины с сапфирами мог себе разрешить только Позье... Слышали пословицу: что позволено Юпитеру, то не позволено быку? Сейчас стараются избегать таких сочетаний. Двадцатый век – век приглушенных тонов. А впрочем... Когда говорят пушки, музы молчат. – Он вздохнул. – Молчат и стоят в очереди за хлебом. Честь имею.

Борин подкрутил фитиль в керосиновой лампе, которая висела рядом с электрической, и вопросительно посмотрел на меня:

– Вам решать, Леонид Борисович...

Да, решать, к сожалению, нужно было мне, и никому иному. И от моего решения зависело многое, может быть, все. Но как решать это уравнение, в котором столько неизвестных?

Ни Улиманова, ни Кустарь последнее время у члена Союза хоругвеносцев не появлялись. Табакерку ему отдали еще до обыска у канатчицы. Так? Так. Но... И вот тут начиналась бесконечная вереница всяческих «но», «возможно», «если».

Одну ли табакерку работы Позье передали Глазунову? Ведь не исключено, что в результате налета Кустарь стал обладателем всех ценностей «Алмазного фонда».

На квартире Улимановой ничего из принадлежащего «Фонду» не нашли. Не оказалось ли все это в сейфе у Глазунова? Тогда розыскное дело можно завершить немедленным обыском.

Два-три часа – и все. Одним ударом мы разрубим все узлы и вернем ценности республике. «Гром победы, раздавайся! Веселися, храбрый росс!»

Но не торопись веселиться, храбрый росс. Прежде подумай. Хорошенько подумай, не спеша.

А если налетчик поживился у неизвестных только табакеркой, тогда как?...

То-то и оно.

Или другой вариант. Кустарь действительно завладел сокровищами «Фонда», но Глазунову передал для реализации лишь табакерку. Остальное хранится бог весть где – у Иванова, Петрова, Сидорова.

Что тогда?

Обыск на квартире Улимановой, обыск в доме Глазукова... Улиманова же не последняя дура. Она не может не понять, что происходит. И Кустарь не идиот. А Глазунов?

Сухова позвали к телефону. Он с видимым сожалением оставил творение Позье и вышел.

Филимонов бестолково бегал по комнате, натываясь на мебель. Опрокинул стул. Поднял, извинился, конфузливо зашмыгал носом. Кажется, он продолжал свой немой диалог с совестью. С медальона на табакерке улыбалась бело-розовая, как пастила, Елизавета. Не в пример мне, веселая императрица все умела воспринимать с улыбкой... даже географию. Кажется, до конца своих дней она так и не узнала, что Англия – остров. Но веселиться ей это не мешало. Хороший характер был у Елизаветы.

Филимонов наконец налетел на стол и ушиб колено. Сморщился от боли. Растирая ногу, спросил:

– Выходит, к ногтю Анатолия Федоровича-то?

– Побегайте покуда в коридоре, любезнейший, – посоветовал ему Борин. – Мы вас потом пригласим...

– Можно и в коридоре, – согласился приказчик.

У Глазукова имелось два сейфа. Я спросил у Борина, не знает ли Филимонов, в каком именно сейфе хозяин хранил табакерку.

– В том, что в спальне. В американском, – тотчас же ответил Борин, словно заранее готовился к моему вопросу.

– Какой в нем замок?

– Системы Гоббса. Надежный замок.

– Но видимо, и такие замки иногда портятся?

– Случается.

– Надо, чтобы замок в сейфе Глазукова испортился на этих днях. Чем быстрее, тем лучше.

А о слесаре, который его исправит, мы позаботимся.

– Хотите ознакомиться с содержимым сейфа?

– Другого выхода у нас нет, Петр Петрович.

– Пожалуй, – согласился он. – А табакерку возвращаем Глазукову?

– А табакерку возвращаем Глазукову. Пусть только Филимонов не забудет починить краны. И побеседуйте с ним: уж слишком он нервничает. Чтобы не было никаких фокусов.

– Все будет сделано, Леонид Борисович.

По лицу Борина трудно было понять, одобряет он мое решение или нет. В комнату вошел Сухов.

– Сейчас в-выезжаем к Глазукову?

– Нет.

- А к-когда?
- Во всяком случае, не сегодня.
- А т-табакерка?
- У вас еще есть время ею полюбоваться, – сказал я. – А пока пригласите сюда Филимонова. Хватит ему бегать по коридору. Пусть немного отдохнет.
- С-слушаюсь, Л-леонид Б-борисович, – заикаясь больше обычного, сказал Павел, который никак не мог понять, что же здесь произошло в его отсутствие.
- Удобно расположившаяся на облаках Елизавета по-прежнему улыбалась...

Начальнику бригады «Мобиль» тов. Косачевскому Л.Б.

В соответствии с Вашим указанием произведена негласная проверка предметов, хранящихся гр. Глазуновым А.Ф. в двух сейфах.

Сообщаю результаты.

В сейфе за № 32546 находятся:

- 1. Отделанная эмалью, золотом и слоновой костью шкатулка в виде домика с двускатной кровлей.*
- 2. Четыре табакерки: работы Позье и три других (эмаль, золото, серебро).*
- 3. Восемь гемм с мифологическими сюжетами.*
- 4. Шестьдесят семь жемчужин и девять пар запонок с жемчугом.*
- 5. Семь пар серег с подвесками из небольших самоцветов, бриллиантов и жемчужин.*
- 6. Пять золотых перстней со вставками из камней.*
- 7. Кулон с грушевидным камнем фиолетового цвета.*
- 8. Четыре эмалированных серебряных портсигара с золотой филигранью и мелкими самоцветами.*
- 9. Брошь в форме двенадцатиконечной звезды, в центре которой пять крупных бриллиантов.*
- 10. Восемнадцать обручальных золотых колец, некоторые из них с мелкими бриллиантами.*
- 11. Карманные часы с репетитором. Крышка украшена эмалью и драгоценными камнями.*

В сейфе за № 1561 находятся:

- 1. Около унции мелкого жемчуга розоватого цвета.*
- 2. Пять-шесть фунтов малахита, яшмы и других поделочных камней.*
- 3. Четыре книжечки листового золота, по 25 листов в каждой.*
- 4. Серебряные пластинки, стержни и проволока (два фунта).*
- 5. Припой из серебра и золота (ленты, опилки).*
- 6. Приспособления и инструменты для различного вида ювелирных работ: кубики из бронзы и чугуна с полусферическими углублениями разных радиусов («анки»), пунзеля, заворачивающиеся чугунные шары («штраубкугели»), гравировальные иглы, щетки из латунной проволоки, полировальные диски из пальмового дерева, олова, смолы, фетра и др.*

Учитывая, что некоторые из предметов, хранящихся у гр. Глазунова, могли принадлежать «Алмазному фонду», они были представлены на заключение эксперту.

Агент второго разряда Б. Денесюк

Заключение ювелира Гейштора

- 1. «Шкатулка в виде домика» является реликварием, т. е. предназначена для хранения религиозных реликвий.*

На фронтонных сторонах реликвария изваяны Христос и Богородица, в нишах помещены золотые фигурки апостолов. Каждая из фигурок в соответствии с христианской сим-

воликой украшена одним из двенадцати камней: над головой апостола Петра – яспис, который символизирует твердость, Филиппа – аравийский сардоникс, Матвея – аметист и т. д.

Те же двенадцать камней-символов окантовывают изображения Христа и Богородицы.

Реликварий является высокохудожественным произведением ювелирного искусства XII–XIII веков. До революции принадлежал Киево-Печерской лавре.

2. «Три табакерки (эмаль, золото, серебро)». Эти шкатулки (их нельзя именовать табакерками) относятся к лучшим из известных мне образцов живописной, или лиможской, эмали, которая в XIV–XV веках пришла в Европе на смену выемчатой, перегородчатой и частично вытеснила просвечивающую.

Вначале при производстве таких изделий металл (преимущественно медь) покрывался темной непрозрачной эмалью, на которой огнеупорными красками рисовали библейские сцены, портреты и орнаменты. Позднее изображения исполнялись иногда прозрачными красками нескольких тонов на серебре и золоте, что придавало лиможским эмалям особую красоту и изящество (две шкатулки – восьмиугольная и круглая, украшенная веткой из самоцветов, – выполнены именно в такой манере).

Шкатулки следует отнести к концу XV – началу XVI века. Судя по исполнению, рисунку, чистоте колеров, восьмиугольная является произведением самого известного эмалиера того времени Леонара Пенико. Две другие, видимо, сделаны Пьером Реймоном или Жаном Куртуа.

Похожие эмали находились в собрании покойного харьковского коллекционера Переяслова. В 1913 году они экспонировались в музее Харьковского университета.

3. «Восемь гемм с мифологическими сюжетами». Геммы бывают двух видов: камеи – резные камни с выпуклым изображением и инталы – резные камни с углубленным изображением. Все представленные мне геммы – камеи.

«Амур и Психея», «Похищение Прозерпины», «Марсий с содранной Аполлоном кожей» являются античными геммами, из числа тех, которые принято именовать подарочными (В Древнем Риме «Амура и Психею» обычно дарили невестам; тем, кто перенес несчастье, преподносились камеи с изображением похищения Прозерпины, и т. д.).

Остальные камеи значительно более позднего происхождения и, за исключением выполненной на восьмислойном сардониксе геммы «Кентавр и вакханки», особой ценности не представляют. Что же касается «Кентавра», то это, видимо, работа известного французского мастера XVIII века Жака Гюз, придворного резчика Людовика XV.

Камею отличают артистическое использование богатых возможностей восьмислойного камня, живописность изображения, тонкий рисунок, уравновешенность композиции, экспрессия. Она ни в чем не уступает лучшим камням середины XVIII века в собрании императорского Эрмитажа.

Камеи «Амур и Психея», «Похищение Прозерпины», «Марсий с содранной Аполлоном кожей», «Кентавр и вакханки», так же как и лиможская эмаль, экспонировались в 1913 году в музее Харьковского университета вместе с нумизматической коллекцией.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.